И.А.БУНИН

РАССКАЗЫ

И.А.БУНИН

РАССКАЗЫ

МОСКВА
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1982

Текст печатается по изданию:
И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти томах, тт. 2, 3, 4, 5, 7,
М., «Художественная литература», 1965, 1966

Художник
О. ВЕРЕЙСКИЙ

Оформление
Е. БОГОЛЮБОВОЙ

Б $\frac{4702010100-410}{028(01)-82}$ КБ-35-21-82

ТАНЬКА

Таньке стало холодно, и она проснулась.

Высвободив руки из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.

— Холодно, тетка? — спросил странник, лежа на конике.

— Нет,— ответила Марья,— туман. А собаки валяются,— беспременно к метели.

Она искала спичек и гремела ухватами.

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался.

В окна брезжил синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал:

— Сиротка! Корову-то прогусарили?

— Продали.

— И лошади нету?

— Продали.

Танька раскрыла глаза.

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда еще картохи копали», в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей «кусок в горло не идет», и Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк.

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали «анчихристы». Оба они были похожи друг на дружку — черны, засалены, подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька... Потом «черный» опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору... И отец уже не погнался...

«Анчихристы», лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид, особенно последний — Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками.

— Ну,— кричал один,— смотри сюда, получай с богом деньги!

— Не мои они, побереги, полцены брать не приходится,— уклончиво отвечал Корней.

— Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке боле годов, чем нам с тобой? Молись богу!

— Что зря толковать,— рассеянно возражал Корней.

Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса: блестящие, злые черные глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу.

— Что за шум, а драки нету? — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей.

Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскоренча, ехать время, я на выгоне дожду»,— и пошел к воротам.

Корней нерешительно окликнул:

— Что ж не глянул лошадь-то?

Талдыкин остановился.

— Долгого взгляда не сто́ит,— сказал он.

— Да ты поди, побалакаем...

Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза.

— Ну?

Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел.

— Плоха? — стараясь шутить, спросил Корней.

Талдыкин хмыкнул:

— Долголетня?

— Лошадь не старая.

— Тэк. Значит, первая голова на плечах?

Корней смутился.

Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил:

— Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней?.. Ну, да нам сойдет, получай одиннадцать желтеньких.

И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть.

— Молись богу да полбутылочки ставь.

— Что ты, что ты? — обиделся Корней.— Ты без креста, дядя!

— Что? — воскликнул Талдыкин грозно,— бабурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается, бери, говорят тебе!

— Да какие же это деньги?

— Такие, каких у тебя нету.

— Нет, уж лучше не надо...

— Ну, через некоторое число за семь отдашь, с удовольствием отдашь,— верь совести...

Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу.

Потом пробовали лошадь на выгоне... И как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки!

Когда же пришел октябрь и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и завалинку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать.

Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны,

от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны — от грозных окриков матери:

— Ты куда? Чичер, холод — а она, на-кося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!

Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью, круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек, на просьбы об этом отвечала:

— Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка!

Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на «грубке» печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный, густой воздух; на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки; мать чинила рубахи или вязала варежки; наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она «старинные» песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость, вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск... Песней говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою...

Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник, к столу. Тут она, как зверок, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку... После ужина она с тугим животом так же быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой и, когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном под молитвенный шепот матери: «Угодники божии, святителю Микола-милостливый, столп-охранение людей, матушка пресвятая Пятница — молите бога за нас! Хрест в головах, хрест у ногах, хрест от лукавого...»

Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила «глаза выколоть», «слепым в сумку отдать», если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила «хоть капустки», а спокойный и насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать:

— Вот домовой-то,— говорил он серьезно,— все спи да спи! Дай батю дождать!

Батя ушел еще с Казанской, был дома только раз, говорил, что везде «беда»,— полушубков не шьют, больше помирают,— и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже «вот такой-то кусок» соленого судака батя принес в тряпочке: «на кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал»... Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали...

Странник обулся, умылся, помолился богу; широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице, крестился он широко. Потом расчесал бородку-клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно.

— Что ж, тетка,— сказал он,— даром солому-то жжешь, варева не ставишь?

— Что варить-то? — спросила Марья отрывисто.

— Как что? Ай нечего?

— Вот домовой-то...— пробормотал Васька.

Марья заглянула на печку:

— Ай проснулся?

Васька сопел спокойно и ровно.

Танька прижукнулась.

— Спят,— сказала Марья, села и опустила голову.

Странник исподлобья долго глядел на нее и сказал:

— Горевать, тетка, нечего.

Марья молчала.

— Нечего,— повторил странник.— Бог даст день, бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома, пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам — и ничего себе... Эх, не ночевывала ты на снежку под ракитовым кустом — вот что!

— Не ночевал и ты,— вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели,— с ребятишками с голодными, не слыхал, как голосят они во сне с голоду! Вот, что́ я им суну сейчас, как встанут? Все дворы еще до рассвету обегала — Христом-богом просила, одну краюшечку добыла... и то, спасибо, Козел дал... у самого, говорит, оборочки на лапти не осталось... А ведь ребят-то жалко — в отделку сморились...

Голос Марьи зазвенел.

— Я вон,— продолжала она, все более волнуясь,— гоню их каждый день на пруд... «Дай капустки, дай картошечек...» А что я дам? Ну, и гоню: «Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку...»

Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка («У, погибели на тебя нету!..») и стала усиленно сгребать на полу солому.

Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней... Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь.

«Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить,— думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг.— Аж к вечеру приду...»

По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие «козырьки»; меринок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снега нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок.

В санях сидел седой старик, с нависшими бровями, барин Павел Антоныч. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее.

Давно ездил он по этой дороге... После Крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антоныч навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена... Потом пришлось отпустить крепостных... Потом проводить в Сибирь сына-студента... И Павел Антоныч стал совсем затворником. Он втянулся в одночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм.

Морозило, и за снежными полями, на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря.

— Погоняй, потрогивай, Егор,— сказал Павел Антоныч отрывисто.

Егор задергал вожжами.

Он потерял кнут и искоса оглядывался.

Чувствуя себя неловко, он сказал:

— Чтой-то бог даст нам на весну в саду: прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло.

— Тронуло, да не морозом,— отрывисто сказал Павел Антоныч и шевельнул бровями.

— А как же?

— Объедены.

— Зайцы-то? Правда, провалиться им, объели кое-где.

— Не зайцы объели.

Егор робко оглянулся.
— А кто ж ?
— Я объел.
Егор поглядел на барина в недоумении.
— Я объел,— повторил Павел Антоныч.— Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы... Значит, я объел.
Егор растянул губы в неловкую улыбку.
— Чего оскаляешься-то? Погоняй!
Егор, роясь в передке, в соломе, пробормотал:
— Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...
— А кнутовище? — строго и быстро спросил Павел Антоныч.
— Переломился...
И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антоныч взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору.
— На́ тебе два, дай мне один. А кнут — он, брат, ременный — вернись, найди.
— Да он, может... около городу.
— Тем лучше. В городе купишь... Ступай. Придешь пешком. Один доеду.
Егор хорошо знал Павла Антоныча. Он слез с передка и пошел назад по дороге.

А Танька благодаря этому ночевала в господском доме.
Да, в кабинете Павла Антоныча был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антоныч. Оба пили чай с молоком.
Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волоски были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антоныч ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы и смешно, до самого виска ходят челюсти.
Будь с Павлом Антонычем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антоныч ехал по деревне один. На горе катались мальчишки. Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антоныч остановился.
— Ты чья?— спросил он.
— Корнеева,— ответила Танька, повернулась и бросилась бежать.
— Постой, постой,— закричал Павел Антоныч,— я отца видел, гостинчика привез от него.
Танька остановилась.
Ласковой улыбкой и обещанием «прокатить» Павел Антоныч заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоныча на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антоныч успел подхватить ее под мышки и опять начал уговаривать. Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и иззябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее.

В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы... Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно: откуда эти тихие перезвоны и рулады идут? Потом Павел Антоныч накормил ее черносливом — Танька сперва не брала — «он черниющий, ну-кось умрешь», дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала: «Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам».
Павел Антоныч причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, встащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой.
В кабинете было тепло. В дальних темных комнатах четко стучал маятник... Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом.
Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре и пошел тихий звук. Танька засмеялась.
— Опять? — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно.
Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески-детскою радостью.
— Погоди,— шепнул он, снимая со стены гитару.
Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку»:

Заря ль моя, зоренька,
Заря ль моя ясная!

Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни:

По заре-заре
Играть хочется!

Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодной смертью?
Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны...
Вот теперь его племянницы во Флоренции... Танька и Флоренция!..
Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.
И пошел по комнате, шевеля бровями.
Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек,— и везде они томятся от голода!
Павел Антоныч все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына...
А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые — звезды... Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок... Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни...

1892

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ

I

...Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с теплыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева,— с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника св. Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины много село на поля. Это тоже добрый знак: «Много тенетника на бабье лето — осень ядреная»... Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду

раздаются голоса и скрип телег. Это тархане, мещане-садовники наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город,— непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге. Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним, но уж таково заведение — никогда мещанин не оборвет его, а еще скажет:

— Вали, ешь досыта,— делать нечего! На сливанье все мед пьют.

И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пахнет яблоками, тут — особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке — посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша — целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога»,— косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка — плисовая, занавеска длинная, а понева — черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом»...

— Хозяйственная бабочка! — говорит о ней мещанин, покачивая головою.— Переводятся теперь такие...

А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках, с белыми раскрытыми головами, все подходят. Идут по двое, по трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую овчарку, привязанную к яблоне. Покупает, конечно, один, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идет бойко, и чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах — весел. Вместе с братом, картавым, шустрым полуидиотом, который живет у него «из милости», он торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «троиет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идешь домой к ужину мимо садового вала. Голоса на деревне или скрип ворот раздаются по студеной заре необыкновенно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в саду — костер, и крепко тянет душистым дымом вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада — сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги — два черных столба. И вдруг все это скользнет с яблони — и тень упадет по всей аллее, от шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. Шурша по сухой листве, как слепой, доберешься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь.

— Это вы, барчук? — тихо окликает кто-то из темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай?

— Нам нельзя-с спать. А, должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд идет...

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле. Дрожь переходит в шум, растет, и вот, как будто уже за самым садом, ускоренно выбивают шумный такт колеса: громыхая и стуча, несется поезд... ближе, ближе, все громче и сердитее... И вдруг начинает стихать, глохнуть, точно уходя в землю...

— А где у вас ружье, Николай?

— А вот возле ящика-с.

Вскинешь кверху тяжелую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснет к небу, ослепит на миг и погасит звезды, а бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая в чистом и чутком воздухе.

— Ух, здорово! — скажет мещанин.— Потращайте, потращайте, барчук, а то просто беда! Опять всю дулю на валу отрясли...

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!

II

«Ядреная антоновка — к веселому году». Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился... Вспоминается мне урожайный год.

На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом, сквозь который ярко блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорее заседлывать лошадь, а сам побежишь умываться на пруд. Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе. Вода под лозинами стала прозрачная, ледяная и как будто тяжелая. Она мгновенно прогоняет ночную лень, и, умывшись и позавтракав в людской с работниками горячими картошками и черным хлебом с крупной сырой солью, с наслаждением чувствуешь под собой скользкую кожу седла, проезжая по Выселкам на охоту. Осень — пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен, вид деревни совсем не тот, что в другую пору. Если же год урожайный и на гумнах возвышается целый золотой город, а на реке звонко и резко гогочут по утрам гуси, так в деревне и совсем не плохо. К тому же наши Выселки спокон веку, еще со времен дедушки, славились «богатством». Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу,— первый признак богатой деревни,— и были все высокие, большие и белые, как лунь. Только и слышишь, бывало: «Да,— вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала!» — или разговоры в таком роде:

— И когда это ты умрешь, Панкрат? Небось тебе лет сто будет?

— Как изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебе годов, спрашиваю!

— А не знаю-с, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Как же-с, батюшка,— явственно помню.

— Ну, вот видишь. Тебе, значит, никак не меньше ста.

Старик, который стоит перед барином вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, делать,— виноват, зажился. И он, вероятно, еще более зажился бы, если бы не объелся в Петровки луку.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись, тряся головой, задыхаясь и держась за скамейку руками,— все о чем-то думает. «О добре своем небось»,— говорили бабы, потому что «добра» у нее в сундуках было, правда, много. А она будто и не слышит; подслеповато смотрит куда-то вдаль из-под грустно приподнятых бровей, трясет головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Понева — чуть не прошлого столетия, чуньки — покойницкие, шея — желтая и высохшая, рубаха с канифасовыми косяками всегда белая-белая,— «со-

всем хоть в гроб кладн». А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на могилку, так же как и саван,— отличный саван, с ангелами, с крестами и с молитвой, напечатанной по краям.

Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. А у богатых мужиков — у Савелия, у Игната, у Дрона — избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой,— так больше и желать невозможно!

Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти,— очень недавно,— имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны Герасимовны, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать приходится шагом, да и спешить не хочется,— так весело в открытом поле в солнечный и прохладный день! Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь ястребок в прозрачном воздухе и замрет на одном месте, трепеща острыми крылышками. А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики,— совсем черные значки на нотной бумаге.

Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба — небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. Надворных построек — невысоких, но домовитых — множество, и все они точно слиты из темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние могикане дворового сословия — какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в отставке, похожий на Дон-Кихота. Все они, когда въезжаешь во двор, подтягиваются и низко-низко кланяются. Седой кучер, направляющийся от каретного сарая взять лошадь, еще у сарая снимает шапку и по всему двору идет с обнаженной головой. Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к обедне,— зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на которых ездят попы. Сад у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом — крышей. Стоял он во главе двора, у самого сада,— ветки лип обнимали его,— был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет,— так основательно глядел он из-под своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз,— окнами с перламутровыми от дождя и солнца стеклами. А по бокам этих глаз были крыльца,— два старых больших крыльца с колоннами. На фронтоне их всегда сидели сытые голуби, между тем как тысячи воробьев дождем пересыпались с крыши на крышу... И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним небом!

Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах... Во всех комнатах — в лакейской, в зале, в гостиной — прохладно и сумрачно: это оттого, что дом окружен садом, а верхние стекла окон цветные: синие и лиловые. Всюду тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы с инкрустациями и зеркала в узеньких и витых золотых рамах никогда не трогались с места. И вот слышится покашливанье: выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная. На плечах у нее накинута большая персидская шаль. Выйдет она важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные разговоры про старину, про наследства начинают появляться угощения: сперва «дули», яблоки,— антоновские, «бель-барыня», боровинка, «плодовитка»,— а потом удивительный обед: вся насквозь розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квас,— крепкий и сладкий-пресладкий... Окна в сад подняты, и оттуда веет бодрой осенней прохладой...

III

За последние годы одно поддерживало угасающий дух помещиков — охота.

Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были не редкость. Были и разрушающиеся, но все еще жившие на широкую ногу усадьбы с огромным поместьем, с садом в двадцать десятин. Правда, сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни... Нет троек, нет верховых «киргизов», нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого — помещика-охотника, вроде моего покойного шурина Арсения Семеныча.

С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. Стоишь у окна и думаешь: «Авось, бог даст, распогодится». Но ветер не унимался. Он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали низко и быстро — и скоро, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и, наконец, превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь...

Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале, полной солнца и дыма от трубок и папирос. Народу много — все люди загорелые, с обвет-

ренными лицами, в поддевках и длинных сапогах. Только что очень сытно пообедали, раскраснелись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охоте, но не забывают допивать водку и после обеда. А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеныча, взлезает на стол и начинает пожирать с блюда остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом. Зала еще более наполняется дымом, а Арсений Семеныч стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом — красавец цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубахе, бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку и гостей выстрелом, он шутливо-важно декламирует баритоном:

Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время!

Я сейчас еще чувствую, как жадно и емко дышала молодая грудь холодом ясного и сырого дня под вечер, когда, бывало, едешь с шумной ватагой Арсения Семеныча, возбужденный музыкальным гамом собак, брошенных в чернолесье, в какой-нибудь Красный Бугор или Гремячий Остров, уже одним своим названием волнующий охотника. Едешь на злом, сильном и приземистом «киргизе», крепко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитым с ним почти воедино. Он фыркает, просится на рысь, шумно шуршит копытами по глубоким и легким коврам черной осыпавшейся листвы, и каждый звук гулко раздается в пустом, сыром и свежем лесу. Тявкнула где-то вдалеке собака, ей страстно и жалобно ответила другая, третья — и вдруг весь лес загремел, точно он весь стеклянный, от бурного лая и крика. Крепко грянул среди этого гама выстрел — и все «заварилось» и покатилось куда-то вдаль.

— Береги-и! — завопил кто-то отчаянным голосом на весь лес.

«А, береги!» — мелькнет в голове опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, как сорвавшийся с цепи, помчишься по лесу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькают перед глазами да лепит в лицо грязью из-под копыт лошади. Выскочишь из лесу, увидишь на зеленях пеструю, растянувшуюся по земле стаю собак и еще сильнее наддашь «киргиза» наперерез зверю,— по зеленям, взметам и жнивьям, пока, наконец, не переваливаешься в другой остров и не скроется из глаз стая вместе со своим бешеным лаем и стоном. Тогда, весь мокрый и дрожащий от напряжения, осадишь вспененную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лесной долины. Вдали замирают крики охотников и лай собак, а вокруг тебя — мертвая тишина. Полураскрытый строевой лес стоит неподвижно, и кажется, что ты попал в какие-то заповедные чертоги. Крепко пахнет от оврагов грибной сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою. И сырость из оврагов становится все ощутительнее, в лесу холоднеет и темнеет... Пора на ночевку. Но собрать собак после охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенят рога в лесу, долго слышатся крик, брань и визг собак... Наконец, уже совсем в темноте, вваливается ватага охотников в усадьбу какого-нибудь почти незнакомого холостяка-помещика и наполняет шумом весь двор усадьбы, которая озаряется фонарями, свечами и лампами, вынесенными навстречу гостям из дому...

Случалось, что у такого гостеприимного соседа охота жила по нескольку дней. На ранней утренней заре, по ледяному ветру и первому мокрому зазимку, уезжали в леса и в поле, а к сумеркам опять возвращались, все в грязи, с раскрасневшимися лицами, пропахнув лошадиным потом, шерстью затравленного зверя,— и начиналась попойка. В светлом и людном доме очень тепло после целого дня на холоде в поле. Все ходят из комнаты в комнату в расстегнутых поддевках, беспорядочно пьют и едят, шумно передавая друг другу свои впечатления над убитым матерым волком, который, оскалив зубы, закатив глаза, лежит с откинутым на сторону пушистым хвостом среди залы и окрашивает своей бледной и уже холодной кровью пол. После водки и еды чувствуешь такую сладкую усталость, такую негу молодого сна, что как через воду слышишь говор. Обветренное лицо горит, а закроешь глаза — вся земля так и поплывет под ногами. А когда ляжешь в постель, в мягкую перину, где-нибудь в угловой старинной комнате с образничкой и лампадой, замелькают перед глазами призраки огнисто-пестрых собак, во всем теле заноет ощущение скачки, и не заметишь, как потонешь вместе со всеми этими образами и ощущениями в сладком и здоровом сне, забыв даже, что эта комната была когда-то молельной старика, имя которого окружено мрачными крепостными легендами, и что он умер в этой молельной, вероятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдых был особенно приятен. Проснешься и долго лежишь в постели. Во всем доме — тишина. Слышно, как осторожно ходит по комнатам садовник, растапливая печи, и как дрова трещат и стреляют. Впереди — целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе. Не спеша оденешься, побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным, совсем не таким, как другие. Потом примешься за книги,— дедовские книги в толстых кожаных переплетах, с золотыми звездочками на сафьянных корешках. Славно пахнут эти похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старинными духами... Хороши и заметки на их полях, крупно и с круглыми мягкими росчерками сделанные гусиным пером. Развернешь книгу и читаешь: «Мысль, достойная древних и новых философов, цвет разума и чувства сердечного»... И невольно увлечешься и самой книгой. Это — «Дворянин-философ», аллегория, изданная лет сто тому назад иждивением какого-то «кавалера многих орденов» и напечатанная в типографии приказа общественного призрения,— рассказ о том, как «дворянин-философ, имея время и способность рассуждать, к чему разум человека возноситься может, получил некогда желание сочинить план света на пространном месте своего селения»... Потом наткнешься на «сатирические и философские сочинения господина Вольтера» и долго упиваешься милым и манерным слогом перевода: «Государи мои! Эразм сочинил в шестомнадесять столетии похвалу дурачеству (манерная пауза,— точка с запятою); вы же приказываете мне превозвысить пред вами разум...» Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментально-напыщенным и длинным романам... Кукушка выскакивает из часов и насмешливо-грустно кукует над тобою в пустом доме. И понемногу в сердце начинает закрадываться сладкая и странная тоска...

Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»: «Бьет полночь! Священная тишина заступает место дневного шума и веселых песен поселян. Сон простирает мрачныя крылья свои над поверхностью нашего полушария; он стрясает с них мак и мечты... Мечты... Как часто продолжают оне токмо страдания злощастного!..» И замелькают перед глазами любимые старинные слова: скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, «ероты», розы и лилии, «проказы и резвости младых шалунов», лилейная рука, Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою... Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на меня со стены, аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза...

IV

Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб. Эти дни были так недавно, а меж тем мне кажется, что с тех пор прошло чуть не целое столетие. Перемерли старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч... Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!

Вот я вижу себя снова в деревне, глубокой осенью. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья, ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам... Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма, жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору «сумерничать», не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточки около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми, синея, грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я слушаю их дробный, дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни... Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе... Хороша и мелкопоместная жизнь!

Мелкопоместный встает рано. Крепко потянувшись, поднимается он с постели и крутит толстую папиросу из дешевого, черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном, теплом доме мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою. Это, однако, не мешает барину хрипло крикнуть на весь дом:

— Лукерья! Самовар!

Потом, надев сапоги, накинув на плечи поддевку и не застегивая ворота рубахи, он выходит на крыльцо. В запертых сенях пахнет псиной; лениво потягиваясь, с визгом зевая и улыбаясь, окружают его гончие.

— Отрыж! — медленно, снисходительным басом говорит он и через сад идет на гумно. Грудь его широко дышит резким воздухом зари и запахом озябшего за ночь, обнаженного сада. Свернувшиеся и почерневшие от мороза листья шуршат под сапогами в березовой аллее, вырубленной уже наполовину. Вырисовываясь на низком сумрачном небе, спят нахохленные галки на гребне риги... Славный будет день для охоты! И, остановившись среди аллеи, барин долго глядит в осеннее поле, на пустынные зеленые озими, по которым бродят телята. Две гончие суки повизгивают около его ног, а Заливай уже за садом: перепрыгивая по колким жнивьям, он как будто зовет и просится в поле. Но что сделаешь теперь с гончими? Зверь теперь в поле, на взметах, на чернотропе, а в лесу он боится, потому что в лесу ветер шуршит листвою... Эх, кабы борзые!

В риге начинается молотьба. Медленно расходясь, гудит барабан молотилки. Лениво натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идут лошади в приводе. Посреди привода, вращаясь на скамеечке, сидит погонщик и однотонно покрикивает на них, всегда хлестая кнутом только одного бурого мерина, который ленивее всех и совсем спит на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, девки, девки! — строго кричит степенный подавальщик, облачаясь в широкую холщовую рубаху.

Девки торопливо разметают ток, бегают с носилками, метлами.

— С богом! — говорит подавальщик, и первый пук старновки, пущенный на пробу, с жужжаньем и визгом пролетает в барабан и растрепанным веером возносится из-под него кверху. А барабан гудит все настойчивее, работа закипает, и скоро все звуки сливаются в общий приятный шум молотьбы. Барин стоит у ворот риги и смотрит, как в ее темноте мелькают красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мерно двигается и суетится под гул барабана и однообразный крик и свист погонщика. Хоботье облаками летит к воротам. Барин стоит, весь посеревший от него. Часто он поглядывает в поле... Скоро-скоро забелеют поля, скоро покроет их зазимок...

Зазимок, первый снег! Борзых нет, охотиться в ноябре не с чем; но наступает зима, начинается «работа» с гончими. И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг к другу, пьют на последние деньги, по целым дням пропадают в снежных полях. А вечером на каком-нибудь глухом хуторе далеко светятся в темноте зимней ночи окна флигеля. Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, тускло горят сальные свечи, настраивается гитара...

На сумерки буен ветер загулял.
Широки мои ворота растворял,—

начинает кто-нибудь грудным тенором. И прочие нескладно, прикидываясь, что они шутят, подхватывают с грустной, безнадежной удалью:

Широки мои ворота растворял,
Белым снегом путь-дорогу заметал...

1900

ОСЕНЬЮ

I

В гостиной наступило на минуту молчание, и, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня.

— Ну, мне пора,— сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами.

Я не отходил от нее весь вечер и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную, но какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл,— то, что она знала, что я выйду с нею.

— Вы тоже? — полуутвердительно спросила она.— Значит, вы проводите меня,— прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь.

Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черного платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже, казалось, в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах — во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые. И пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами.

Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко захлопнулась. Подавляя нервную

дрожь н чуастауя ао всем теле необычиую легкость, я взял ее руку н заботливо стал саодить с крыльца.

— Вы хорошо аиднте? — спросила оиа, глядя под иоги.

И а голосе ее опять послышалась поощряющая приаетлнаость.

Я, иаступая на лужн и лнстья, иаугад поаел ее по даору, мнмо обнажеииых акаций и уксусных деревьев, которые гулко н упруго, как корабельные сиастн, гуделн под влажным и сильным ветром южиой ноябрьской иочи.

За решетчатыми аоротами саетился фонарь экипажа. Я взгляиул ей в лицо. Не отаечая, оиа азяла своей маленькой, узкой от перчатки рукой железиый прут ворот и без моей помощи откниула половиву их в стороиу. Поспешио прошла оиа к экипажу и села а него, так же быстро сел и я рядом с нею...

II

Мы долго не моглн сказать ни слова. То, что тайно аолновало иас последннй месяц, было теперь сказано без слоа, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно н иеожиданио. Я прижал ее руку к своим губам н, взаолноаииый, отаернулся и стал пристальио глядеть а сумрачиую даль бегущей навстречу иам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой вопрос,— ие холодно лн ей,— она только со слабой улыбкой шеаельнула губамн, ие а силах ответить, я понял, что и оиа боится меия. Но на пожатне рукн оиа ответила благодарио н крепко.

Южиый ветер шумел в дереаьях иа бульварах, колебал пламя редких газовых фоиарей иа перекрестках н скрнпел вывесками иад даерямн запертых лаaок. Иногда какаянибудь сгорблениая фигура вырастала вместе с своею шаткою тенью под большим качающнмся фонарем тааерны, но исчезал фоиарь за намн — и опять иа улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывио бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разиые стороиы грязь, и она, казалось, с интересом следила за иими. Я взглядыаал иногда на ее опущеииые ресинцы и склонеииый под шляпой профнль, чувствоаал всю ее так близко от себя, слышал тоикий запах ее волос, и меия волиовал даже гладкий и иежный мех соболя иа ее шее...

Потом мы саернули на широкую, пустую н длниную улйцу, казавшуюся бескоиечной, миноаали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу обораалась под иамн. От толчка иа иоаом поаороте оиа покачиулась, и я иевольио обиял ее. Оиа взглянула вперед, потом обернулась ко мие. Мы встретились лицом к лнцу, в ее глазах ие было больше ии страха, ин колебаиия,— легкая застеичивость сказоилa только в напряжеииой улыбке,— и тогда я, ие созиаааая, что делаю, иа мгиовение крепко прильнул к ее губам...

III

В темноте мелькали аысокие силуэты телеграфных столбоа адоль дороги,— иаконец пропалн и оии, саериулн куда-то а стороиу н скрылнсь. Небо, которое над городом было черио и асе-таки отделялось от его слабо осаещеииых улиц, соаершенио слилось здесь с землею, и нас окружнл аетреиый мрак. Я огляиулся иазад. Огин города тоже нсчезали,— они были рассыпаны точно где-то в темиом море,— а апереди мерцал только однн огонек, такой одинокий и отдаленный, точио он был иа краю света. То была старая молдаааиская корчма иа большой дороге, н оттуда иесло сильным ветром, который путался и тороплиао шуршал в иссохших стеблях кукурузы.

— Куда мы едем? — спросила она, сдерживая дрожь а голосе.

Но глаза ее блестели,— иаклонившись к ией, я различал их в темноте,— н в инх было страиное и вместе с тем счастлиaое выражеиие.

Ветер торопливо шуршал н бежал, путаясь а кукурузе, лошади быстро неслнсь ему иаастречу. Сноаа куда-то мы свернули, и аетер сразу измеиился, стал влажиее и прохладнее н еще беспокойией заметался вокруг иас.

Я полиой грудью адыхал его. Мие хотелось, чтобы все темное, слепое и непоиятиое, что было а этой ночи, было еще непонятиее и смелее. Ночь, которая казалась а городе обычиой иеиастиой иочью, была здесь, в поле, соасем иияя. В ее темиоте и аетре было теперь что-то большое и властное,— и аот иакоиец послышался скаозь шорох бурьяноа какой-то роаный, однообразиый, аеличавый шум.

— Море? — спросила оиа.

— Море,— сказал я.— Это уже последние дачи.

А в побледнеашей темноте, к которой мы пригляделнсь, аырастали влеао от нас огромные и угрюмые силуэты тополей а дачных садах, спускаашихся к морю. Шорох колес н топот копыт по грязн, отдаааясь от садоаых оград, иа миниуту стал яастаениее, но скоро их заглушил приближающийся гул дереаьеа, а которых метался аетер, н шум моря. Промелькиуло иесколько иаглухо забитых домов, смутно белевшнх а темиоте и казаашнхся мертвыми... Потом тополи расступились, и виезапио в пролет между инми пахиуло влажностью,— тем ветром, который прилетает к земле с огромных аодяных простраиств н кажется их саежим дыхаиием.

Лошади остаиоанлись.

И тотчас же ровиый и величааый ропот, в котором чувстаовалась огромиая тяжесть аоды, и беспорядочиый гул деревьеа а беспокойио дремавших садах сталн слышиее, и мы быстро пошли по листьям и лужам, по какой-то аысокой аллее, к обрыаам.

IV

Море гудело под ними грозио, аыделяясь из асех шумоа этой треаожиой и сонной ночи. Огромное, теряющееся а простраистае, оно лежало глубоко аниву, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гриаами пены. Страшеи был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным остроаом выраставшего на скалистом прибрежье. Чуастаоаалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь иочь поздией осеии, и старый большой сад, забитый иа зниу дом н раскрытые беседки по углам ограды были жутки саоей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победио н, казалось, асе аелнчавее а сознаини своей силы. Влажиый ветер аалил с иог иа обрыае, и мы долго ие а состоянии былн иасытиться его мягкой, до глубины душн проиикающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глиинстым тропиикам и остаткам деревяииых лестииц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступиа иа грааий, мы тотчас же отскочилн а сторону от волны, разбиашейся о камии. Высились и гудели черные тополи, а под иими, как бы а отает им, жадиым и бешеным прибоем нграло море. Высокие, долетающие до иас аолны с грохотом пушечиых аыстрелов рушились иа берег, крутилнсь и сверкали целыми аодопадамн сиежной пеиы, рыли песок и камии и, убегая иазад, увлекали спутаниые водоросли, ил и грааий, который гремел и скрежетал в их влажном шуме. И весь аоздух был полои тоикой, прохладиой пылью, все аокруг дышало вольиой свежестью моря. Темнота бледиела, и море уже ясио видио было иа далекое пространство.

— И мы одии! — сказала оиа, закрыаая глаза.

V

Мы были одии. Я целоаал ее губы, упиваясь их иежиостью и влажиостью, целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрыаая их с улыбкой, целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села иа камень, стал перед нею иа колеин, обесснлеииый радостью.

— А завтра? — говорила оиа иад моей головою.

И я поднимал голову н смотрел ей в лнцо. За миою жадно бушевало море, над иами высились н гудели тополн...

— Что завтра? — повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья.— Что завтра?

Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку и перчатку и наслаждаясь их тонким, женственным запахом.

— Да! — сказала она медленно, и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое лицо.— Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но все оказалось так скучно и обыденно, что теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно... Я люблю тебя,— говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя.

Редкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной.

1901

ЗАРЯ ВСЮ НОЧЬ

I

На закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени. Гром грохотал над крышей, гулко возрастая и разражаясь треском, когда мелькала красноватая молния, от нависших туч темнело. Потом приехали с поля в мокрых чекменях работники и стали распрягать у сарая грязные сохи, потом пригнали стадо, наполнившее всю усадьбу ревом и блеянием. Бабы бегали по двору за овцами, подоткнув подолы и блестя белыми босыми ногами по траве; пастушонок в огромной шапке и растрепанных лаптях гонялся по саду за коровой и с головой пропадал в облитых дождем лопухах, когда корова с шумом кидалась в чащу... Наступала ночь, дождь перестал, но отец, ушедший в поле еще утром, все не возвращался.

Я была одна дома, но я тогда никогда не скучала; я еще не успела насладиться ни своей ролью хозяйки, ни свободой после гимназии. Брат Паша учился в корпусе, Анюта, вышедшая замуж еще при жизни мамы, жила в Курске; мы с отцом провели мою первую деревенскую зиму в уединении. Но я была здорова и красива, нравилась сама себе, нравилась даже за то, что мне легко ходить и бегать, работать что-нибудь по дому или отдавать какое-нибудь приказание. За работой я напевала какие-то собственные мотивы, которые меня трогали. Увидав себя в зеркале, я невольно улыбалась. И, кажется, все было мне к лицу, хотя одевалась я очень просто.

Как только дождь прошел, я накинула на плечи шаль и, подхватив юбки, побежала к варку, где бабы доили коров. Несколько капель упало с неба на мою открытую голову, но легкие неопределенные облака, высоко стоявшие над двором, уже расходились, и на дворе реял странный, бледный полусвет, как всегда бывает у нас в майские ночи. Свежесть мокрых трав доносилась с поля, мешаясь с запахом дыма из топившейся людской. На минуту я заглянула и туда,— работники, молодые мужики в белых замашных рубахах, сидели вокруг стола за чашкой похлебки и при моем появлении встали, а я подошла к столу и, улыбаясь над тем, что я бежала и запыхалась, сказала:

— А папа где? Он был в поле?

— Они были не надолго и уехали,— ответило мне несколько голосов сразу.

— На чем? — спросила я.

— На дрожках, с барчуком Сиверсом.

— Разве он приехал? — чуть не сказала я, пораженная этим неожиданным приездом, но, вовремя спохватившись, только кивнула головой и поскорее вышла.

Сиверс, кончив Петровскую академию, отбывал тогда воинскую повинность. Меня еще в детстве называли его невестой, и он тогда очень не нравился мне за это. Но потом мне уже нередко думалось о нем, как о женихе; а когда он, уезжая в августе в полк, приходил к нам в солдатской блузе с погонами и, как все вольноопределяющиеся, с удовольствием рассказывал о «словесности» фельдфебеля-малоросса, я начала свыкаться с мыслью, что буду его женой. Веселый, загорелый,— резко белела у него только верхняя половина лба,— он был очень мил мне.

«Значит, он взял отпуск»,— взволнованно думала я, и мне было и приятно, что он приехал, очевидно, для меня, и жутко. Я торопилась в дом приготовить отцу ужин, но, когда я вошла в лакейскую, отец уже ходил по залу, стуча сапогами. И почему-то я необыкновенно обрадовалась ему. Шляпа у него была сдвинута на затылок, борода растрепана, длинные сапоги и чесучовый пиджак закиданы грязью, но он показался мне в эту минуту олицетворением мужской красоты и силы.

— Что ж ты в темноте? — спросила я.

— Да я, Тата,— ответил он, называя меня, как в детстве,— сейчас лягу и ужинать не буду. Устал ужасно, и притом, знаешь, который час? Ведь теперь всю ночь заря,— заря зарю встречает, как говорят мужики.— Разве молока,— прибавил он рассеянно.

Я потянулась к лампе, но он замахал головой и, разглядывая стакан на свет, нет ли мухи, стал пить молоко. Соловьи уже пели в саду, и в те три окна, что были на северо-запад, виднелось далекое светло-зеленое небо над лиловыми весенними тучками нежных и красивых очертаний. Все было неопределенно и на земле, и в небе, все смягчено легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете непогасшей зари. Я спокойно отвечала отцу на вопросы по хозяйству, но, когда он внезапно сказал, что завтра к нам придет Сиверс, я почувствовала, что краснею.

— Зачем? — пробормотала я.

— Свататься за тебя,— ответил отец с принужденной улыбкой.— Что ж, малый красивый, умный, будет хороший хозяин... Мы уж пропили тебя.

— Не говори так, папочка,— сказала я, и на глазах у меня навернулись слезы.

Отец долго глядел на меня, потом, поцеловав в лоб, пошел к дверям кабинета.

— Утро вечера мудренее,— прибавил он с усмешкой.

II

Сонные мухи, потревоженные нашим разговором, тихо гудели на потолке, мало-помалу задремывая, часы зашипели и звонко и печально прокуковали одиннадцать...

«Утро вечера мудренее»,— пришли мне в голову успокоительные слова отца, и опять мне стало легко и как-то счастливо-грустно.

Отец уже спал, в кабинете было давно тихо, и все в усадьбе тоже спало. И что-то блаженное было в тишине ночи после дождя и старательном выщелкивании соловь-

ев, что-то неуловимо прекрасное реяло в далеком полусвете зари. Стараясь не шуметь, я стала осторожно убирать со стола, переходя на цыпочках из комнаты в комнату, поставила в холодную печку в прихожей молоко, мед и масло, прикрыла чайный сервиз салфеткой и прошла в свою спальню. Это не разлучало меня с соловьями и зарей. Ставни в моей комнате были закрыты, но комната моя была рядом с гостиной, и в отворенную дверь, через гостиную, я видела полусвет в зале, а соловьи были слышны во всем доме. Распустив волосы, я долго сидела на постели, все собираясь что-то решить, потом закрыла глаза, облокотясь на подушку, и внезапно заснула. Кто-то явственно сказал надо мной: «Сиверс!» — я, вздрогнув, очнулась, и вдруг мысль о замужестве сладким ужасом, холодом пробежала по всему моему телу...

Я лежала долго, без мыслей, точно в забытьи. Потом мне стало представляться, что я одна во всей усадьбе, уже замужняя, и что вот в такую же ночь муж вернется когда-нибудь из города, войдет в дом и неслышно снимет в прихожей пальто, а я предупрежу его — и тоже неслышно появлюсь на пороге спальни... Как радостно поднимет он меня на руки! И мне уже стало казаться, что я люблю. Сиверса я знала мало; мужчина, с которым я мысленно проводила эту самую нежную ночь моей первой любви, был не похож на него, и все-таки мне казалось, что я думаю о Сиверсе. Я почти год не видала его, а ночь делала его образ еще более красивым и желанным. Было тихо, темно; я лежала и все более теряла чувство действительности. «Что ж, красивый, умный...» И, улыбаясь, я глядела в темноту закрытых глаз, где плавали какие-то светлые пятна и лица...

А меж тем чувствовалось, что наступил самый глубокий час ночи. «Если бы Маша была дома,— подумала я про свою горничную,— я пошла бы сейчас к ней, и мы проговорили бы до рассвета... Но нет,— опять подумала я,— одной лучше... Я возьму ее к себе, когда выйду замуж...»

Что-то робко треснуло в зале. Я насторожилась, открыла глаза. В зале стало темнее, все вокруг меня и во мне самой уже изменилось и жило иной жизнью, особой ночной жизнью, которая непонятна утром. Соловьи умолкли,— медленно щелкал только один, живший в эту весну у балкона, маятник в зале тикал осторожно и размеренно-точно, а тишина в доме стала как бы напряженной. И, прислушиваясь к каждому шороху, я приподнялась на постели и почувствовала себя в полной власти этого таинственного часа, созданного для поцелуев, для воровских объятий, и самые невероятные предположения и ожидания стали казаться мне вполне естественными. Я вдруг вспомнила шутливое обещание Сиверса прийти как-нибудь ночью в наш сад на свидание со мной... А что, если он не шутил? Что, если он медленно и неслышно подойдет к балкону?

Облокотившись на подушку, я пристально смотрела в зыбкий сумрак и переживала в воображении все, что я сказала бы ему едва слышным шепотом, отворяя дверь балкона, сладостно теряя волю и позволяя увести себя по сырому песку аллеи в глубину мокрого сада...

III

Я обулась, накинула шаль на плечи и, осторожно выйдя в гостиную, с бьющимся сердцем остановилась у двери на балкон. Потом, убедившись, что в доме не слышно ни звука, кроме мерного тиканья часов и соловьиного эха, бесшумно повернула ключ в замке. И тотчас же соловьиное щелканье, отдававшееся по саду, стало слышнее, напряженная тишина исчезла, и грудь свободно вздохнула душистой сыростью ночи.

По длинной аллее молодых березок, по мокрому песку дорожки я шла в полусвете зари, затемненной тучками на севере, в конец сада, где была сиреневая беседка среди тополей и осин. Было так тихо, что слышно было редкое падение капель с нависших ветвей. Все дремало, наслаждаясь своей дремотой, только соловей томился своей сладкой песней. В каждой тени мне чудилась человеческая фигура, сердце у меня поминутно замирало, и когда я наконец вошла в темноту беседки и на меня пахнуло ее теплотой, я была почти уверена, что кто-то тотчас же неслышно и крепко обнимет меня.

Никого, однако, не было, и я стояла, дрожа от волнения и вслушиваясь в мелкий, сонный лепет осин. Потом села на сырую скамью... Я еще чего-то ждала, порою быстро взглядывала в сумрак рассвета... И еще долго близкое и неуловимое веяние счастья чувствовалось вокруг меня,— то страшное и большое, что в тот или иной момент встречает всех нас на пороге жизни. Оно вдруг коснулось меня,— и, может быть, сделало именно то, что нужно было сделать: коснуться и уйти. Помню, что все те нежные слова, которые были в моей душе, вызвали наконец на мои глаза слезы. Прислонясь к стволу сырого тополя, я ловила, как чье-то утешение, слабо возникающий и замирающий лепет листьев и была счастлива своими беззвучными слезами...

Я проследила весь сокровенный переход ночи в рассвет. Я видела, как сумрак стал бледнеть, как заалело белесое облачко на севере, сквозившее сквозь вишенник в отдалении. Свежело, я куталась в шаль, а в светлеющем просторе неба, который на глаз делался все больше и глубже, дрожала чистой яркой каплей Венера. Я кого-то любила, и любовь моя была во всем: в холоде и в аромате утра, в свежести зеленого сада, в этой утренней звезде... Но вот послышался резкий визг водовозки — мимо сада, на речку... Потом на дворе кто-то крикнул сиплым, утренним голосом... Я выскользнула из беседки, быстро дошла до балкона, легко и бесшумно отворила дверь и пробежала на цыпочках в теплую темноту своей спальни...

Сиверс утром стрелял в нашем саду галок, а мне казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом. Но это не мешало мне крепко спать. Когда же я очнулась, в зале раздавались голоса и гремели тарелками. Потом Сиверс подошел к моим дверям и крикнул мне:

— Наталья Алексеевна! Стыдно! Заспались!

А мне и правда было стыдно, стыдно выйти к нему, стыдно, что я откажу ему,— теперь я знала это уже твердо,— и, торопясь одеться и поглядывая в зеркало на свое побледневшее лицо, я что-то шутливо и приветливо крикнула в ответ, но так слабо, что он, верно, не расслышал.

1902—1926

У ИСТОКА ДНЕЙ

I

В тумане моего прошлого есть один далекий день, который я вспоминаю особенно часто.

Я вижу большую комнату в бревенчатом доме на хуторе средней России.

Одно окно этой комнаты — на юг, на солнце, два других — на запад, в вишневый сад.

В простенке стоит старинный туалет красного дерева, а на полу возле него сидит ребенок трех или четырех лет.

Он один в комнате и чувствует себя необыкновенно счастливым.

На дворе сухо,— погожий конец степного августа, и солнечный свет косо падает из окна, выходящего на юг, почти до того места, где сидит на полу ребенок.

А он открыл дверцу в тумбе туалета, обоняет кисленький запах старинных духов и тщательно укладывает на полированную полочку синие гербовые бумаги.

Нужды нет, что эти бумаги покрыты строками крупных непонятных завитушек и что не приказано их рвать,

ни пачкать их: радостно уже одно то, что обладаешь ими, что их много и что можно раскладывать их в тумбе, которая отныне будет твоею.

Так было и сказано:

— Вот эта тумбочка с нынешнего дня — твоя.

А для того, чтобы было что укладывать, подарили большую кипу синих бумаг с красивыми двуглавыми птицами. Накопится много и других вещей, вроде коробочек и граненых пузырьков, стоящих на туалете. И все это будет спрятано сюда же.

Но на свете, как известно, все кончается: бумаги уже несколько раз укладывались на полочке и так и этак, порядок, в котором они должны быть, строго обдуман,— остается затворить тумбу, поглядеть на нее с приятным чувством собственности — и заняться чем-нибудь другим.

Чем же?

Ребенок стоит возле туалета и осматривается.

Увы, в простой деревенской комнате с голыми бревенчатыми стенами совсем почти пусто: только стулья, да большая кровать, да августовское солнце, косо озаряющее некрашеный пол.

Приятно подойти к окну, почувствовать тепло солнечного света и, прижавшись лицом к стеклу, расплющить нос... Очень заманчива и паутина,— легкая восьмигранная сетка в верхнем углу окна... Но, во-первых, до нее не дотянешься, если даже приставить к окну стул, а во-вторых, из щели в углу может выбежать на высоких тонких ножках большой серый паук.

И ребенок, подняв глаза, чувствует сладкий страх при мысли о таинственном хозяине этой паутины, имя которого он произносит с запинкой по-крестьянски — пуак — и который так сердито выскакивает из своей щели, когда в его сеть попадает муха.

Сладко следить тогда за ее гибелью!

Жалобно и долго, долго ноет она в тишине пустой комнаты, точно зовет на помощь... Но помощи нет, и время течет среди ее однотонного плача в полной неизвестности, что будет дальше... И вдруг он, этот темно-серый страшный паук, выскакивает из щели и быстро бежит по паутине... схватывает муху в лапы, замирает с нею на месте и, наконец, уже слабую, затихающую, тянет ее в свое жилище...

Что это за жилище? Что делает в нем его хозяин, чем занят он?

Нечаянно взгляд ребенка падает в эту минуту на зеркало.

II

Я хорошо помню, как поразило оно меня.

С него начинаются смутные, не связанные друг с другом воспоминания моего младенчества. Точно в сновидениях живу я в них. И вот оно, первое сновидение у истока дней моих.

Ранее нет ничего: пустота, несуществование.

Ни мое сердце, ни мой разум никогда не могли и до сих пор не могут примириться с этой пустотой. Но, покоряясь неизбежности, я принимаю за начало моего бытия этот августовский день, эти синие гербовые бумаги с орлами, тихую невыразимую радость, которую они дали мне,— и зеркало.

Между колонками туалета, в тяжелой прихотливой раме, висело что-то светлое, блестящее, красивое — и непонятное. Я видел его и ранее. Видел и отражения в нем. Но изумило оно меня только теперь, когда мои восприятия вдруг озарились первым ярким проблеском сознания, когда я разделился на воспринимающего и сознающего. И все окружавшее меня внезапно изменилось, ожило — приобрело свой собственный лик, полный непонятного.

Я заглянул в то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело между колонок туалета, увидал там другую комнату, совершенно такую же, как та, в которой я был, но только более заманчивую, более красивую, увидал самого себя — и в первый раз в жизни был изумлен и очарован.

Я восторженно оглянулся... Да, несомненно, в зеркале было все, что было и здесь, вокруг меня — и стены, и стулья, и пол, и солнечный свет, и ребенок, стоявший среди комнаты... Нас было двое, удивленно смотревших друг на друга! И вот один из нас вдруг закрыл глаза — и все исчезло: остались только светлые пятна, закружившиеся в темноте... Потом снова открыл их — и снова увидал все то, что уже видел... Не странно ли только, что комната в зеркале падает, валится на меня?

Робко приблизился я к зеркалу и, дотянувшись рукой до нижней части рамы, толкнул ее.

Зеркало блеснуло, стукнулось о стену, а покатый пол, отраженный в нем, стал еще более покатым. Теперь вся комната падала на меня, падал и мальчик, стоявший против меня, и кровать, и стулья... Очарованный, восхищенный, долго глядел я на то чудесное и новое, что так внезапно открылось мне — и потянул раму к себе. Зеркало блеснуло, завалилось назад — и все исчезло... И как раз в эту минуту кто-то хлопнул дверью, и я вздрогнул и громко крикнул от страха.

III

Что было дальше?

Много раз пытался я вспомнить еще хоть что-нибудь; но это никогда не удавалось.

Вспоминая, я быстро переходил к выдумке, к творчеству, ибо и воспоминания-то мои об этом дне не более реальны, чем творчество.

Твердо помню только одно: зеркало поразило меня именно в этот день. Я должен был разгадать его во что бы то ни стало.

Но как?

О, много было лукавств и ухищрений!

Они, эти ухищрения, кончались всегда неудачей. И, пережив неудачу, я, конечно, забывал о зеркале. Но вот я опять оставался наедине с ним — и опять испытывал его власть над собою.

Я любил угловую комнату, когда она была пуста. Я входил, затворял за собой двери — и тотчас же вступал в какую-то особую, чародейственную жизнь.

Так тихо, так тихо, что слышна каждая нота в тонком и печальном плаче замирающей в паутине мухи!

И я затаивал дыхание, и казалось, что и комната ждет чего-то вместе со мною.

Мальчик, стоящий предо мною в отраженной комнате, был теперь выше ростом, решительнее, смелее, чем тот, что стоял в ней в светлый августовский день несколько лет тому назад. Но отраженная комната была все так же притягательна, заманчива... стократ заманчивее той, в которой был я! И сладко было снова и снова тешить себя несбыточной мечтою побывать, пожить в этой отраженной комнате!

Только существует ли она и тогда, когда не смотришь на нее?

Чтобы узнать это, нужно прежде всего обмануть кого-то.

И вот я делал равнодушное лицо, отходил от зеркала, заглядывал с притворной беспечностью в окна — и вдруг быстро оборачивался к туалету...

Нет, все по-прежнему!

Но тогда не сесть ли в кресло против зеркала? Закрыть глаза и притвориться спящим... А затем сразу открыть их...

Увы, снова хитрость моя рассыпается прахом!

Оставалось еще одно: приоткрыть ресницы — так мало, так мало, чтобы никто и не подумал, что они приоткрыты...

Но как это трудно!

Ресницы дрожат, глазам больно, и выходит все одно и то же: или совсем ничего не видно, или хоть слабо, но видно все!

И много раз, делая отчаянные усилия, сдвигал я с места тяжелые колонки, среди которых висело зеркало, и заглядывал между ними и стеною. Но и там, именно там,

где должна была заключаться разгадка тайны, не оказывалось ничего, кроме бревен с одной стороны и шершавых дощечек, которыми было забито зеркало, с другой!

— Значит, кроется что-нибудь за ними, за этими дощечками?

Говорят, что за этими дощечками только стекло, намазанное ртутью. Да, но что такое ртуть? Ртуть тоже нечто чудесное. Положил кто-то этой ртути в пекущиеся хлебы — и вдруг хлебы запрыгали по печке! А главное: почему поспешили закутать это что-то, намазанное ртутью и называемое зеркалом, в черный коленкор, как только умерла Надя?

В эту страшную ночь, когда в доме свершилось что-то невыразимое, наполнившее весь дом сперва таинственной суматохой, испуганными голосами, а потом страстными криками матери,— зеркало завесили черным коленкором.

Я, спавший в угловой комнате на широкой постели, в диком ужасе вскочил на колени, когда тишину ночи прорезали эти крики. А затем в комнату быстро вошла заплаканная нянька и накинула на зеркало кусок черной материи.

И, как внезапный ветер по затрепетавшим листьям дерева, по всему моему телу прошла одна мысль, одно сознание: в доме смерть! То ужасное, чье имя — тайна!

IV

Ночи предшествовали тяжелые, печальные дни.

Стоял февраль, наполнявший комнаты скудным полусветом.

А девочка была больна уже давно, и казалось, что конца не будет этим дням, этому скудному полусвету и тишине, воцарившейся с тех пор, как в детской, пропитанной сладковатым запахом лекарств, затворили двери и завесили окна темными шторами.

В глуши, на хуторе, заброшенные, забытые, жили мы тогда: мать, Надя, нянька Дарья, большая властная старуха, я и мой воспитатель,— если только можно было назвать так этого странного человека, похожего на Данте,— человека без роду, без племени, уже много лет скитавшегося по мелким помещикам, обучавшего их детей и нигде не уживавшегося.

Я медленно, с трудом читал, а он, этот Данте, в стареньком кургузом сюртучке и коротких панталонах, из-под которых торчали грубые рыжие сапоги, ходил по комнате из угла в угол и думал, думал, бормоча свои думы себе под нос и порою с злорадным наслаждением похохатывая.

А смерть уже незримо реяла среди нас, и печальную тишину дома нарушали только шаги моего воспитателя и мое однотонное чтение. И читал я как раз о ней: читал песнь о старом нормандском бароне, умиравшем в отдаленном покое за́мка в бурную и темную ночь рождества Христова. И когда она появилась наконец — столь грозная, что даже собаки на дворе завыли, услыхав вопли в доме,— тотчас же было наброшено черное покрывало и на то, что каким-то образом было причастно ее тайне!

V

Я уснул, чувствуя томительную тоску.

За окнами чернела ночь, комната была слабо озарена стоявшей на полу возле кровати свечой.

Обычно со мной спала мать. Но с тех пор, как заболела девочка, на ночь стала приходить ко мне нянька. А в эту ночь даже и няньки не было. Она только изредка входила, вынимала что-то из ящиков туалета, шепотом говорила мне: «Спи, спи, я сейчас приду»,— и снова уходила.

И я пытался уснуть.

Но тоска, предчувствие чего-то, что вот-вот должно совершиться, будили меня, едва только я начинал забываться. Задремлю — и вдруг вскочу с бьющимся сердцем и страстным желанием закричать о помощи.

Но даже крикнуть я не смел — так тихо было в доме и так странно блестело зеркало, наклонно висевшее между колонок туалета и отражавшее покатый пол и дрожащий длинный огонь свечи, стоявшей возле кровати.

И вот...

Поднялась какая-то возня, послышались испуганные, торопливые голоса, стук дверей, а вслед за ними — сдавленный, ужасный крик... Пораженный им до глубины сердца, я вскочил, сел на колени и замер, уже готовый ответить на этот крик криком еще более ужасным, как растворилась дверь, и по комнате, сотрясая пол своею тяжестью, пробежала нянька с черным куском коленкора в руках...

Потом меня, дрожащего от ужаса и изумления, зачем-то одели, и воспитатель мой повел меня в ту, слабо освещенную синей лампадкой комнату, где на ломберном столе, покрытом простынею, лежала кукла в розовом платьице...

Помню, как мы остановились на пороге этой комнаты и, перекрестившись, поклонились в угол, лампадке и этой кукле...

Помню даже, что набожное смирение, с которым медленно перекрестился и поклонился мой воспитатель, показалось мне неестественным...

Мне показалось, что он пьян: это с ним случалось нередко... И от этого мне сделалось еще страшнее.

А он, с истовостью пьяного человека, желающего показать, что он нисколько не пьян, а, напротив, сознательно, серьезно и спокойно делает все то, что полагается в таких случаях, подвел меня к столу, приподнял за плечи — и я увидал бледное, безжизненное личико и тусклый блеск мертвых, слизистых глаз под неплотно смежившимися черными ресницами, четко выделявшимися среди бледности... В этом было что-то безобразное!

Безобразно-ужасен был и сон, которым я забылся после того.

Я до сих пор чувствую всю нескладную, горячечную суматоху всех этих людей, наполнивших дом и начавших торопливо переносить и передвигать из комнаты в комнату столы, стулья, кровати и зеркала, как только я закрыл глаза.

Девочка мгновенно ожила, хотя и осталась все такой же загадочной и безмолвной, какой она была на столе, и поспешила вмешаться в суматоху, бегая из комнаты в комнату под ногами мужиков, торопливо носивших на руках стулья и зеркала, покрытые черным коленкором.

Как это она могла ожить и остаться в то же время мертвой?

Как это она могла бегать и не упасть, когда лицо ее было столь же слепо и безжизненно, как тусклая полоска ее глаз, блестевшая в прорезе неплотно прикрытых ресниц?

Наконец настало утро.

VI

Ах, как хорошо сделал господь бог, создавши свет!

Сколько раз в жизни говорил я эти слова, открывая глаза после тяжких ночных сновидений! Как этот свет успокаивает, как укрощает и душу нашу, и все окружающее нас!

Белый, спокойный и простой день был в мире, когда я проснулся.

Но, проснувшись, я тотчас взглянул на зеркало... О, каким печальным показалось оно мне!

Да и не одно оно. Все в доме было печально: и заплаканная, похудевшая, с блестящими глазами, мать, и серьезный воспитатель, и притихшая, уже далеко не столь властная, как прежде, старуха нянька, и разговоры вполголоса, и эта кукольная девочка с восковым личиком, лиловатым виском, неживыми локонами и полуприкрытыми ресницами, из-под которых еще тусклее, чем вчера, блестела полоска стеклянных глаз...

А потом, в солнечный морозный день с метелью, приехали на трех розвальнях попы, нанесли в дом холоду, за-

паха снега н ладана и сталн с грустнымн прнчитаннями н пеннем ходить вокруг лежащей на столе куклы, кланяться ей н дымнть на нее нз кадила...

И с какой изысканной делнкатностью, с какой кокетлнвой печалью залнвался в этот день высокий горловой тенор всегда смелого н даже наглого о. Федора!

Как он легко, точно в кадрнлн, то прнблнжался к столу, то пятнлся нвзад и своей ловкой рукой — даже не рукой, а только одной кнстью — высоко взвнвал пылающее каднло н потоплял в сннх клубах церковного благоухания неподвнжно лежащую куклу!

И как чувствовал я в этот день всю сладость страстных рыданий матерн, когда залнвающнйся тенор грустно утешал ее нензреченной красотою небесных обнтелей. И какой болью сжалось мое сердце в тот момент, когда гробнк, наскоро сбнтый нз пахучего соснового теса, навсегда закрылн крышкой н понеслн, средн пення, в розвальнн, возле которых, в солиечной морозной метелн, ветер развевал волосы на обнаженных головах мужнков!

VII

Надолго застыл после того в тншнне н грустн наш бревенчатый флнгель.

Весеннее солице по целым дням наполняло радостным блеском детскую,— теперь нашу классную,— но померклн все мо́н радостн!

Что это случилось с милой веселой девочкой, которая так звонко выкрнкнвала когда-то свое нмя, а теперь лежнт в селе на погосте, в могиле?

Откуда пршшла она? Зачем росла, прыгала, радовалась вплоть до того рокового вечера, в который точио какой-то злой дух дохиул на нее своим пламениым дыханнем?

С разгоревшимся лнчнком, с сняющнмн глазками, она была особенно оживлена в тот вечер — н вдруг поникла на плечо матерн.

— Мама, бай!

И тотчас же ее унеслн в детскую, и это был последний час, в который я вндел ее: жнвой нз детской она не вернулась.

Вот идут дин за днями, а ее все нет — н ннкогда не будет...

Даже н люльку ее снесли на чердак...

Вот выннмают знмние рамы, и наша классная наполияется душнстой свежестью н теплом яркого солнца... А ее нет — н ннкогда не будет!

Говорят, что она на погосте, в Знаменском. Но вся ли? То живое, прекрасное, что было в ней, ие там, а где-то далеко... в раю, в небе.

В тнхне апрельскне сумеркн, когда я сндел с няиькой у раскрытого окна, выходящего в темный н свежий сад, я подолгу смотрел на меркнущий нежно-алый закат, по которому громозднлись снние тучкн, похожне на саркофагн. И когда над ннми в зеленоватом небе вспыхнвало серебрнстое зерно первой звезды, нянька говорила мне:

— Вон душенька нашей барышнн.

Но н в этнх словах... Нет, это было слншком просто! Это было так же просто, так же ннчего не объясняло, как н то, что зеркало есть стекло, намазанное ртутью.

VIII

И велнко было мое недоумение, когда я убеднлся в этом!

Не раз отодвнгал я зеркало от стены и не рвз убеждался, что ннчего-то нет за ннм, кроме бревен, паутнны н шершавых дощечек!

Однако нужно было заглянуть н под этн дощечкн!

И одиажды, когдв в доме все спали, я отодвннул, замирая от страха быть пойманным, зеркало от стены — н кухонным ножом прнподнял одиу нз дощечек...

Да, меня не обманывали!

Под дощечкой ннчего не было, кроме стекла, намазанного красно-корнчневой краской.

Но, может быть, есть что-ннбудь между этой краской н стеклом?

Нет, н там ннчего нет: я слегка поцарапал концом иожа в уголке зеркала — и увидал... стекло!

Но не стала лн таннственная ртуть еще более таннственной после того?

Несомненно. Ибо разве не чудесно было н то, что сделал я? Я соскоблнл ножом каплю красной краскн н увндел, что чудесное стекло ствло стеклом свмым обыкновенным: прнльнувшн к тому месту, где я скоблнл, можно было сквозь стекло вндеть комнату...

Где я был до той поры, в которой блеснул первый луч моего сознвния, пробужденного светлым стеклом, внсевшнм в тяжелой раме между колонок туалета? Где я был до той поры, в которой туманилось мое тнхое младенчество?

— Нигде,— отвечаю я себе.

Но в таком случае я, значнт, не существовал до этой поры?

— Нет, не существовал.

Но тут вмешнвается сердце:

— Нет. Я не верю этому, как не верю н ннкогда не поверю в смерть, в уннчтожение. Лучше скажн: не знаю. И незнанне твое — тоже тайна.

Моя память так бесснльна, что я почтн ннчего не помню не только о своем младенчестве, но даже о детстве, отрочестве. А ведь существовал же я! И не только существовал,— думал, чувствовал, и так полно, так жадно, как ннкогда потом. Где же все это?

Это тоже тайна. И всюду она, эта всепроннкающая власть тайны, власть, чаще всего злая, враждебная нам.

Чем только не мучнла она меня в пору моего младенчества!

Трн свечн в комнате — к чьей-ннбудь смертн.

Вой собакн ночью — к смертн.

Ворон, пролетевшнй со свнстом крыльев низко над домом,— к смертн.

Разбнтое нечаянно зеркало — к смертн.

Черный коленкор, накннутый на него,— снмвол смертн!

А что творнтся ночью на чердаках, в поле, на кладбнще! Что отражается по ночам перед бедою в зеркалах!

— Вошла я это, матушка барыня, ночн за две перед тем, как барышне умереть, глянула на туалет, а в зеркале стонт кто-то белый-белый, как мел, да длинный-предлинный!

— Да небось плвтье твое отразнлось.

— И, бог знает что! Разве я не помню, в чем была? То-то н дело, что в юбке в одной бумазейной да в темной кофточке!

И я порою думал: уж не права лн ты, моя старая наставннца!

На зеркале н до снх пор вндна царапина, сделанная моей рукой много лет тому назад,— в ту мниуту, когда я пытался хоть глазком заглянуть в неведомое н непонятное, сопутствующее мне от нстока дней монх до грядущей могнлы.

Я вндел себя в этом зеркале ребенком — н вот уже не предствляю себе этого ребенка: он нсчез навсегда н без возврвта.

Я вндел себя в зеркале отроком, но теперь не помию и его.

Видел юношей — и только по портретам знаю, кого отражало когда-то зеркало.

Но разве мое — это ясное, жнвое н слегка надменное лицо? Это лнцо моего младшего, давно умершего брата. Я н гляжу на него, как старший: с ласковой улыбкой снисхождення к его молодостн. А в зеркале отражается печальное н, увы, уже спокойное лнцо!

Настанет день — н навсегда исчезнет нз мнра н оно.

И от попыток монх разгадать жизнь останется один след: царапнна на стекле, намазанном ртутью.

1906

МАЛЕНЬКИЙ РОМАН

I

В этот вечер мы встретились на станции.

Она кого-то ждала и была рассеянна.

Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя, каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было.

Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами на мелькающие вдоль платформы вагоны. В окнах, на площадках — всюду были лица, лица. Но того лица, что было нужно, не было.

Наконец стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелеными лесами. На опустевшей платформе тонко блестели длинные полоски дождевой воды, голубой от неба.

Платформа была в тени,— солнце скрылось за ее навесом, сзади нас, но дачи в лесу, напротив, были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно, в нос, заливался граммофон; где-то щелкали шары крокета и раздавались мальчишеские крики... Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: «Пройдемтесь немного»,— и я пошел.

За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. И мы долго шли его прохладной просекой, по корням и утоптанным, упругим тропинкам, возле грязной дороги, среди зеленых лимов, осин и густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвила себе ноги, на клетчатую кофточку, на тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места посуше, наклоняясь от веток.

— О чем вы думаете? — спросила она раз, не оборачиваясь.

— О ваших ботинках,— сказал я.— О том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках.

— А мне верите?

— Верю...

Но вот просека кончилась, мы очутились на солнце, на открытом зеленом бугре, и она остановилась и обернулась.

— Какой вы милый! — сказала она.— Идет себе и молчит... У меня неожиданный прилив нежности к вам.

Я ответил сдержанно:

— Спасибо. Это в горе бывает.

Она широко раскрыла глаза.

— В горе? В каком горе?

— Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догонять вас.

— Угадали. Хотите?

Я подошел к ней и, взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась.

— Нет,— пробормотала она.— Нет... Ради бога...

И, помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежала с бугра в разлужье.

Направо и налево были овраги, заросшие лесом, впереди — широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени, в блеске низкого солнца. Но, подпустив меня на шаг, прыгнула через канаву и пустилась по лощине. Я прыгнул за нею — и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох, а на взгорье налево пала легкая, чуть дымящаяся радуга.

— Дождь! — звонко крикнула она и еще быстрее побежала по сверкавшему под ливнем лугу.

Половина его, еще озаренная солнцем, дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети,— редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно. Видно было, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли... Потом они замелькали реже, радуга на взгорье стала меркнуть — и шорох сразу замер.

Добежав до стога, она упала в него и засмеялась. Грудь ее дышала порывисто, в волосах мерцали капельки.

— Попробуйте, как бьется сердце,— сказала она, взяв мою руку.

Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась.

Потом тихо отстранила меня и отвернула от меня зардевшееся лицо. Она перекусывала сухой стебелек и блестящими глазами рассеянно смотрела вдаль.

— Это первый и последний раз,— сказала она.— Хорошо?

— Хорошо,— ответил я.

Она пристально посмотрела на меня.

— А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами, я так счастлива! И не ревнуете меня ни к кому... То, что я ждала кого-то, право, не имеет ни малейшего отношения к нам... Ну да, он уже и официально мой жених, и скоро я стану графиней Эль-Маммуна... Почему? Не знаю... Просто потому, что я его боюсь...

Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую.

— А теперь пойдем,— сказала она.

— Куда?

— Еще немного по лугу...

Я поднял ее — и она мельком, застенчиво улыбнулась. Потом милыми женскими движениями поправила волосы, глубоко вздохнула свежестью луга... В лесу, то там, то здесь, глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и звучность его после дождя, высоко в небе плыли и таяли теплые дымчатые облака с золотисто-алыми краями...

А на обратном пути мы заблудились. Однако она быстро сообразила, что где. И уверенно повела меня.

Тут, уступая моей просьбе, кратко, намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю. Кончив, она долго шла молча.

В лесу стояли северные сумерки. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж деревьев. Но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотою леса. И все цепенел теплый сонный воздух, напоенный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими под таинственный шепот кузнечиков... Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен. И, уже с трудом различая дорогу, пошли по глубокому песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной хвое и оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас — я даже успел разглядеть ее серые штанишки — и взвилась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей, во мраке.

— Не к добру,— сказала она, покачав головой.

Я улыбнулся.

— Уверяю вас, не к добру,— повторила она просто и настойчиво.

— Что же будет?

— Ах, я не знаю! Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами и особенно этот вечер я никогда не забуду. Дайте я на прощанье...

Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой... И мы пошли через поляну на зеленый огонек сема-

фора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело; тихо зашептался с лесом дождь. А когда мы вбежали на балкон дачи, под парусиновый навес, к чайному столу, освещенному свечами в колпачках, дождь уже лил как из ведра.

Мы отряхивались и притворно рассказывали, как мы заблудились, как искали дорогу. И вдруг смолкли: из темного угла балкона, с качалки, поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет тридцати, с голым черепом, чудесной черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал:

— Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник.

— Да? — живо спросил он.— Что ж, могло быть. Меня зовут граф Маммуна...

Мне отыскали старый огромный зонт, надавали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму.

Она стояла на пороге, в светлом треугольнике парусинового шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала:

— Прощайте.

И это было последнее слово, слышанное мною от нее.

II

«Дорогой мой,— писала она мне через четыре месяца после этого,— не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и *маленький роман,* только и всего. Но все равно: клянусь вам,— если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас...

Что такое эта мириады раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви. В письмах одного умершего писателя я недавно прочла: «Любовь — это когда хочется того, чего нет и не бывает». Да, да, никогда не бывает. Но все равно. Я вас любила и люблю...

Вспоминаю вас чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, в сумерки и пишу я вам это первое и, верно, последнее письмо. А пишу бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору — я еще таскаю его в самые скверные туманные дни по озерам, в горы. Теперь *он* покорен мне.

Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью в кухне, ахнула от изумления: вот так гости! Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть.

А пошла я сюда ради вас. Чтобы думать, вспоминать в тишине, в безнадежности...

Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые между туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное небо, меня всегда тянет уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь пустом горном отеле... Я бы полжизни отдала, чтобы вы были здесь со мной...

Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печальна была эта дорога! Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и скупо ронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворост. В глубочайшей тишине мы шагали все выше и выше, а с гор, с круч, сумрачно синевших сосновыми лесами, серым дымом спускалась зима. Останавливаясь, чтобы передохнуть, я подолгу смотрела в долины, слабо лиловевшие в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники плакали — тихо, тихо...

Близ какого-то туннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок, пять-шесть сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным, скользким шпалам. Но очень скоро от поселка осталось одно пятно внизу, а с гор уже повеяло сыростью осеннего снега.

Тут он остановился и предложил вернуться.

Я, назло ему, отказалась.

— Не остроумно,— сказал он и, подумав, опять пошел.

Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную, закопченную и гулкую дыру туннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем... Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане. И когда мы переклпкались, голоса наши были глухи и странны.

Раз он окликнул меня,— он все сзади шел,— и, когда я остановилась, подошел и протянул мне руку.

— Будь ласкова,— несмело сказал он,— заберись мне в рукав и вытяни фуфайку.

И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза и прибавил:

— И потом, поедем куда-нибудь, где тепло, и займемся оба каким-нибудь делом. А так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путешествие.

— Разойтись нам надо,— ответила я.

Он помолчал. И пробормотал, сдвигая брови:

— Трудно это...

— Тогда я возьму на себя этот труд,— сказала я.— Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви.

— Я все смею,— сказал он, в упор глядя на меня.— Мне терять нечего.

Я отвернулась и пошла.

Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху, сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане можно было скорее чувствовать, чем различать, их лиловые пятна. И надо всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжкая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг в старой ели, стоявшей возле дороги, послышался шорох. Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее и после этого решила непременно написать вам. Это была, конечно, не сова, это был королек,— кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький, вспорхнул он с мокрого, дымящегося рукава ели, сел было на дорогу — и тихо перелетел к обрывам налево, в туман...

Представляете себе этот вечер? Мглистые стены бора, мокрый, бледный снег вдоль дороги, дымные пропасти, где висит густая аспидная мгла... А королек спокоен. Его не пугает зимняя горная ночь. Он проведет ее где придется — предоставив себя чьей-то высшей защите. А вот у меня нет веры в эту защиту.

Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном номере, пахнущем сосною, и, когда потушу огонь, буду думать о том, что я за облаками, в настоящем царстве смерти. Он лежит в соседнем номере и глухо кашляет. Это не человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей душой!

Если встретимся и я буду свободна, поцелую ваши руки от радости — делайте тогда со мной, что хотите. Нет — так тому и быть...»

III

Но и это письмо дошло до меня бог знает когда. Из Москвы переслали его в деревню. Там оно провалялось чуть не три месяца, потом колесило по югу. И получил я его уже в начале марта, перед отъездом из Крыма.

Тронуло оно меня, взволновало — ужасно.

Но что написать в ответ, что сделать? Я долго думал над этим и придумал только одно, прости меня, боже:

«Поеду-ка и я через горы на лошадях».

На крымских горах тоже висел туман. Но была весна, мне было двадцать восемь лет...

На Ляй-лю, в грязной корчме на перевале, я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окошечка корчмы... Я вынул письмо, перечитал его — и у меня забилось сердце.

«Ах, милая, чудесная! Но что сделать? Что сделать?»

В корчме не сиделось. Я вышел на воздух...

Туман розовел, таял. В мглистой вышине светлело, теплело. В небесах, в дыму облаков обозначалось что-то радостное, нежное... Оно росло, ширилось — и внезапно засияло лазурью...

Надо написать,— непременно!

Но что? Куда?

Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. Но еще долго курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло наконец солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогорье. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягок. И, опьяненный этим ветром, я пошел к обрывам, чтобы еще раз взглянуть на море.

Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар под обрывом. Бесконечная, изрытая равнина сгустившихся облаков — целая страна белых рыхлых холмов — развернулась перед моими глазами. Вместо бездонных стремнин и скал, вместо прибрежий и заливов, до самого горизонта простиралась подо мною эта равнина, необозримым слоем повисшая над морем. И вся сила моей души, вся печаль и радость — печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безотчетная радость весны, молодости — все ушло туда, где, на самом горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело море...

Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжито, что впереди — новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый ямщик-татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт, под несмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе... Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вырезывающихся на сини пустого неба... А тройка, под заливающийся звон и топот, катилась и катилась все ниже и ниже, все глубже и глубже, в лесистые живописные пропасти, все дальше и дальше от перевала, вырастающего и уплывающего в небо.

Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых весенних дней, красота бледно-ясной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних коричневых листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов.

Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной...

И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье.

А в конце марта, будучи уже в деревне, на севере, я неожиданно получил — почтой, через Москву — телеграмму из Женевы:

«Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 сего марта. Эль-Маммуна».

1909—1926

СНЕЖНЫЙ БЫК

В час ночи, зимней, деревенской, до кабинета доносится из дальних комнат жалобный детский плач. Дом, усадьба, село — все давно спит. Не спит только Хрущев. Он сидит, читает, порою останавливает усталые глаза на огнях свечей: — Как все прекрасно! Даже этот голубой стеарин!

Огни, их золотисто-блестящие острия с прозрачными ярко-синими основаниями, слегка дрожат,— и слепит глянцевитый лист большой французской книги. Хрущев подносит к свече руку,— становятся прозрачными пальцы, розовеют края ладони. Он, как в детстве, засматривается на нежную, ярко-алую жидкость, которой светится и сквозит против огня его собственная жизнь.

Плач раздается громче,— жалобный, умоляющий.

Хрущев встает и идет в детскую. Он проходит темную гостиную,— чуть мерцают в ней подвески люстры, зеркало,— проходит темную диванную, темную залу, видит за окнами лунную ночь, ели палисадника и бледно-белые пласты, тяжело лежащие на их черно-зеленых, длинных и мохнатых лапах. Дверь в детскую отворена, лунный свет стоит там тончайшим дымом. В широкое окно без занавесок просто, мирно глядит снежный озаренный двор. Голубовато белеют детские постели. В одной спит Арсик. Спят на полу деревянные кони, спит на спине, закатив свои круглые стеклянные глаза, беловолосая кукла, спят коробки, которые так заботливо собирает Коля. Он тоже спит, но во сне поднялся в своей постельке, сел и заплакал горько, беспомощно,— маленький, худенький, большеголовый...

— В чем дело, дорогой мой? — шепчет Хрущев, садясь на край постельки, вытирая платком личико ребенка и обнимая его щупленькое тельце, что так трогательно чувствуется сквозь рубашечку своими косточками, грудкой и бьющимся сердечком.

Он берет его на колени, покачивает, осторожно целует. Ребенок прижимается к нему, дергается от всхлипываний и понемногу затихает... Что это будит его вот уже третью ночь?

Луна заходит за легкую белую зыбь, лунный свет, бледнея, тает, меркнет — и через мгновение опять растет, ширится. Опять загораются подоконники, косые золотые квадраты на полу. Хрущев переводит взгляд с пола, с подоконника на раму, видит светлый двор — и вспоминает: вот оно что, опять забыли сломать это белое чудище, что дети слепили из снега, поставили среди двора, против окна своей комнаты! Днем Коля боязливо радуется на него — это человекоподобный обрубок с бычьей рогатой головой и короткими растопыренными руками,— ночью, чувствуя сквозь сон его страшное присутствие, вдруг, даже не проснувшись, заливается горькими слезами. Да снегур и впрямь страшен ночью, особенно если глядеть на него издали, сквозь стекла: рога поблескивают, от головы, от растопыренных рук падает на яркий снег черная тень. Но попробуй-ка сломать его! Дети будут реветь с утра до вечера, хотя он все равно уже тает понемногу: скоро весна, мокнут и дымятся в полдень соломенные крыши...

Хрущев осторожно кладет ребенка на подушку, крестит его и на цыпочках выходит. В прихожей он надевает оленью шапку, оленью куртку, застегивается, поднимая черную узкую бороду. Потом отворяет тяжелую дверь в сени, идет по скрипучей тропинке за угол дома. Луна, невысоко стоящая над редким садом, что сквозит на белых сугробах, ясна, но по-мартовски бледна. Раковинки легкой облачной зыби тянутся кое-где по небосклону. Тихо мерцают в глубокой прозрачной синеве между ними редкие голубые звезды. Молодой снежок чуть запорошил крепкий, старый. От бани в саду, стеклянно блещущей кры-

шей, бежит гончая Заливка. «Здравствуй,— говорит ей Хрущев.— Мы одни с тобой не спим. Жалко спать, коротка жизнь, поздно начинаешь понимать, как хороша она...»

Он подходит к снегуру и медлит минуту. Потом решительно, с удовольствием ударяет в него ногою. Летят рога, рассыпается белыми комьями бычья голова... Еще один удар,— и остается только куча снега. Озаренный луной, Хрущев стоит над нею и, засунув руки в карманы куртки, глядит на блещущую крышу. Он наклоняет к плечу свое бледное лицо с черной бородой, свою оленью шапку, стараясь уловить и запомнить оттенок блеска. Потом поворачивается и медленно идет по тропинке от дома к скотному двору. Двигается у ног его, по снегу, косая тень. Дойдя до сугробов, он пробирается между ними к воротам. Ворота отзынуты. Он заглядывает в щель, откуда резко тянет северным ветром. Он с нежностью думает о Коле, думает о том, что в жизни все трогательно, все полно смысла, все значительно. И глядит во двор. Холодно, но уютно там. Под навесами сумрак. Сереют передки телег, засыпанные снегом. Над двором — синее, в редких крупных звездах небо. Половина двора в тени, половина озарена. И старые, косматые белые лошади, дремлющие в этом свете, кажутся зелеными.

29.VI.1911

СИЛА

Шел осенний, мглистый дождь в сумерках.

Прижав уши, стояла на барском дворе, в грязи возле людской, донская кобыла, темная от дождя, худая, будылястая, с тонкой длинной шеей, с обвислым задом, с подвязанным хвостом, запряженная в тележку, плетеный кузов которой был очень мал по тяжелым дорогам и крепко ошинованным колесам.

Мещанин Буравчик, приехавший в этой тележке к старосте, не заставший его дома и сидевший в людской за кубастым самоварчиком красной меди, был человек старенький, ростом с мальчика. Череп его был гол и желт. Над ушами и по затылку курчавились остатки черных жестких волос. Курчавилась и бородка его. Мокрые усы, прокопченные табачным дымом, лезли в добрый, беззубый рот. На темном морщинистом личике, под сдвинутыми бровями, живо и весело блестели кофейные глазки. Он и хмурился и вместе улыбался, тянул с блюдца горячую воду, сося кусочек сахару, и все шарил по впалой груди, ощупывая карманы ветхого длиннополого сюртука, порыжевшего на лопатках.

Горела над столом висячая лампочка. Буравчик поглядывал на нее,— она коптила,— и без умолку говорил. А беременная старостиха, сидевшая на нарах у печки и за веревку ногой качавшая люльку, закрытую ситцевым пологом, похожую на маленький шатер, рассеянно слушала, думая свое и заводя глаза от дремоты.

— Вот они распарятся, я их и подберу,— говорил Буравчик и схлебывал с блюдца, указывая на стакан, набитый разбухшими кусками кренделей.— Распарится, тогда и съем. А так нет, не угрызу. Нечем.

И Буравчик, засмеявшись, полез сухим, бурым от окурков пальцем в рот.

— О! Ишь! — сказал он с удовольствием.— Ни вдного не вллось,— сказал он, желая сказать: «ни одного не осталось», и водя пальцем по голой розовой десне.

— По какой же такой причине? — равнодушно спросила старостиха, с трудом поднимая веки и думая о том, что этот веселый старичок в обтертых сапожках и линючей розовой косоворотке пережил двух жен, вырастил шестерых сыновей, купил барское имение под городом, а прежних повадок все не кидает — живет побирушкой, торгует на селе в лавчонке, конокрадствует и, говорят, вот-вот опять должен в острог садиться.

Буравчик зорко глянул на старостиху, на ее большое сонное лицо.

— По какой причине-то? — ответил он, вытирая палец о борт сюртука.— А совсем не по той, что ты думаешь. А совсем не по той. На меня несут, брешут, как на мертвого, ну, а хоть бы и правда была, так не родился еще тот человек, сударыня, какой смел бы коснуться меня. Не-ет, бог миловал! Меня голой рукой не возьмешь! У меня вон шесть сынов-бугаев, озорней их, чертей, во всем селе нету, а ты глянь, как я их вышколил: взгляду моего боятся! Пересолишь — хлебать не станешь,— прибавил он ни с того ни с сего одну из тех прибауток, связь которых с предыдущей речью очень часто оставалась совершенно непонятна его собеседникам.— Зуб же я своих лишился потому, что дюже болели они у меня, в добрые люди возьми да и научи купоросу в роту подержать. Ты вот послушай, какую антимонию расскажу я тебе про эти самые зубы. Мужичек твой, без сомнения, застрял где-то, давай его, дружка милого, ждать да беседовать от скуки...

— Обещался к вечеру быть,— сказала старостиха.— Да, вишь, грязь-то какая.

— А мы его подождем,— ответил Буравчик и, поставив блюдце на стол, полез в боковой карман за кисетом с махоркой.— А мы его подождем. Да. История же эта самая такого рода была...

И не спеша, с удовольствием стал рассказывать. Череп его блестел от пота, брови хмурились, глаза блестели, выражая старческое довольство жизнью. «Беспременно сынки его дельце какое-нибудь нынче в ночь обработают,— думала старостиха.— Для того он и из дому уехал». А Буравчик, свертывая цигарку, рассказывал:

— Сила не в зубах, сударыня моя. Зубаст кобель, да прост. Опять же и не в медведе сила. У нас на Руси силу в пазухе носи... Да ты вот лучше послушай. В некотором царстве, не в нашем государстве, ехали мы раз, сударыня, с возами своими по белевской по большой дороге. А нужно тебе заметить, что мы тогда с братом Егором коробошниками были, компанировали с ним по этой части да денежки плутовством наживали, откровенно же сказать — прямо муку мученическую терпели от этих от самых дождей и холодов. Вот и тут тоже подобное случилось: едем мы, едем, а дождь, господь с ним, как зарядил с утра, да так до вечеру и остался. Холит нас да холит, будто за хорошую цену нанялся, и до того добил, искоренил, что повернули мы, не долго думая, в лес какой-то встречный, к караулке. Надуваемся, ползем, ломим целиком, а по лесу, понимаешь, как мга какая от дождя синеет, а от лошадей аль ни дым валит: навалилось на колеса грязи этой самой с листьями — чертям невпроворот! Подъезжаем, наконец того...

Буравчик хлебнул с блюдца и остановился. Послышалось шлепанье лаптей по мокрой соломе в сенцах. Кто-то подошел к двери и стал шарить, ища скобки.

— Кажись, он? — спросила старостиха, прислушиваясь.

Прислушался и Буравчик. Дверь чмокнула, распахнулась, открыла на мгновение черную темноту, и вошел не староста, а работник Александр, большой мужик лет пятидесяти, лысый, бородатый, с ясными серыми глазами и нежным цветом крупного лица, в полушубке и чистой замашной рубахе. И опять зорко блеснули глаза Буравчика.

— А и насчет твоей лошади зашел,— сказал Александр, чему-то улыбаясь и садясь на лавку.— Прибрать ее, аль нет?

Буравчик подумал.

— Да нет, погоди,— ответил он с притворной беспечностью.— Я еще, может, поеду. Я ведь этих дождей нисколько не боюсь. Мы, брат, люди русские, травленые...

— Дело твое,— сказал Александр и поглядел в сторону.— Я, признаться, и шел-то больше за тем, чтоб на тебя поглядеть: какой такой, мол, Буравчик этот бытует? Давно слышу: Буравчик, Буравчик... А что за Буравчик,— неизвестно. Дай, думаю, гляну.

— Наслышан, значит, обо мне? — спросил Буравчик.— Ну что ж, гляди. Меня уж давно так кличут. У меня их две, фамилии-то: одна, значит, улишная, а другая журнальная. А ты кто же такой? На работника не похож что-й-то.

— И то не похож,— сказал Александр.— Это меня нуждишка заставила батраком-то на старости лет быть. Я панютинский, у нас село богатое. Я сам хорошо жил, хозяином. Да такая оказия: третий раз горю дотла! Справлюсь-справлюсь, придет лето, хлебушко уберу... ну, думаю, слава тебе, господи... Ан нет: опять сумку надевай! Просто хоть удавись,— прибавил он с застенчивой улыбкой.— Двое ребятишек сгорело...

— Да что ты? — с притворным участием и даже ужасом воскликнул Буравчик. — Это не мед,— сказал он, качая головой.— Это не мед. Избавь бог.

И, помолчав, опять обратился к старостихе:

— Да, так вот я и говорю: заехали мы в лес, подъезжаем к караулке. Ста́новим лошадей во двор, всходим в избу, самовар требуем. А лесник, надо тебе заметить, оказывается, вдовец, старик древний, да такой, что я и отродясь не видывал: просто орутан какой-то! Брат Егор даже испугался маленько. Глянул на меня, да и говорит мне по фарам, чтобы, значит, не понял нас лесник: «Брафарат, афара веферець эферетофоро звеферерь. Офорон мофорожеферет уфурубифирить нафарас». То есть, по-русски сказать так: «Брат, а ведь это зверь. Он может убить нас...» А на зверя лесник, и правда, похож: рубаха ниже колен, лыком подпоясана, на ногах лаптищи, руки длинные, вроде корней дубовых... Дикий, одно слово, человек и силы, видать, неописанной.

— Этот орутан в зверильнице живет,— вставил Александр.— Видел я его в городе.

— Он самый, он самый,— подтвердил Буравчик.— Да его и по избам большое число попадается... Да... И все, знаешь, гнется, кряхтит, в земь смотрит...

— А виски небось серые, невпрочес, как у кобеля хорошего,— опять вставил Александр.

— И то правильно,— сказал Буравчик.— Ты догадлив живешь, сударушка. Ну, только против дикого, как говорится, и сам дик да хитер будь. Мужик тебя ра́лом, а ты его жалом... Да. Обращаемся к леснику: «Чайку с нами милости просим».— «Можно, говорит, спасибо». И опять этак сумрачно, а главная вещь — шамкает. Сел за стол, налили мы ему чаю,— в корец, понятно, а не в чашечку какую-нибудь,— а он и давай, вот не хуже моего, скорки хлебныя крошить да в чаю их распаривать. Что́, думаем, за чудеса такие? «Дед, говорим, да ай у тебя зуб-то нету? Фигура у тебя знаменитая, а зуб нету: что, мол, за притча такая?» А он, понявши, без сомнения, такие слова, и совсем голову угнул. Молчал-молчал, да и выложил нам, дуракам, свое назидание.

— Стравил тоже чем-нибудь, зубы-то? — из вежливости спросила старостиха.

Буравчик закурил, закашлялся и ответил веселой скороговоркой:

— Да нет, в том и басня вся, что не стравил. За грех поплатился, за гордость. Ты вот послушай.

И опять перешел на размеренный тон:

— Он, понимаешь, лесник-то этот, так прямо и сказал нам: назидание мое, говорит, в том самом есть, что окоротил меня господь за грех тяжкий, за глупость мою. И вот каюсь я теперь, ребята, и конному и пешему. Видите, какия дисни-то у меня? О, гляньте,— сказал Буравчик, представляя лесника, и опять запустил в рот палец,— ни одного не осталось. А почему не осталось,— человека я хотел убить, на силу свою глупую понадеялся. Зашел ко мне, ребята, годов семьдесят тому назад солдат один из Польши: шел домой в отпуск несрочный и ночевать, значит, попросился. И было, вот как перед истинным богом, росту в том солдате не боле двух аршин, а силы — и на двух вшей не хватит...

— На взгляд-то, значит,— сказал Александр, чтобы показать, что он понимает, к чему клонил лесник в своем назидании.— На первый взгляд, то есть... Вот вроде как у тебя,— прибавил он насмешливо и дружелюбно.

— Во, во, в аккурат! — подхватил Буравчик, блеснув в его сторону глазами.— Совсем коростовый, глядеться... И зачни, понимаешь, деньгами перед лесником хвастать. «Сел, говорит, за стол, похлебал моей похлебочки, закурил трубочку, снял ранец с себя — и давай деньги из него таскать, пересчитывать. А денег этих самых у него — прямо туча́: все сотельныя одне, и все в стопки, в кирпичи складены и оборочками хрест-нахрест перевязаны. «Да это еще что! — говорит.— У меня, говорит, еще гаман за гашником спрятан, полный золотом». И как, значит, глянул я на этакое богачество, потемнело у меня в глазах от жадности, отнялись мои ручки, ноженьки,— аж штаны ходуном заходили. Посчитал деньги солдат, попихал их в ранец свой и бает: «Что ж, пора и на печь, дядюшка!» А я в ответ ему мычу только да зубами стукаю, зубы же мои в ту пору таковы были, что мог я ими очень даже просто доску столовую перешибить. Ну, завалился, без сомнения, солдат мой на печь, потушил я лучину, нашарил топор-колун под лавкою, лег и жду, а сам думаю: тюкну, мол, обухом разок, и капут ему, суслику!»

— Ан суслик-то умнее нас вышел,— вставил Александр, показывая, что он уже предугадал и развязку притчи.

— «Долго ли, коротко ли,— продолжал Буравчик,— только слышу — успокоился солдат. Ну, думаю, слава тебе, господи, во сне-то ему легче помирать будет, он и сам небось кого-нибудь сонного пришиб,— больше неоткуда было ему такую уйму денег накопить. Подкрался с обухом своим к печке,— а в обухе том весу, никак, боле пуда было,— стал покрепче на приступку, повернул колун тылом, нащупал голову стриженую, размахнулся — раз!.. Мать честна́я! Только мокро, мол, останется!.. И что ж вы, ребятушки, думаете?»

Буравчик остановился и вытаращил глаза, держа блюдце на отлете.

— «Что же вы думаете? — говорит лесник.— Очнулся солдат, потянул в себя носом и покойненько этак кличет меня: «Хозяин, а хозяин. Что-й-то у тебя тут делается! Либо у тебя прусаки водятся? Мне сейчас здо-оровый прусак на голову упал...» А хорош прусак, колун-то мой? Я прямо обомлел от этих слов, свалился с приступки, прижукнулся — и ни вздоху, ни пыху! Зачал, однакося, опять ждать своего...»

— Этот солдат, значит, слово знал такое,— сказала старостиха и, скрестив руки под грудями, перестала мотать ногой.

Александр, насмешливо и ласково улыбаясь, только розово-лысой головой покачал. А Буравчик вскочил с места, торопливо поправил коптившую лампочку, опять сел и крикнул, открывая беззубый рот, с детскою гордостью и радостью:

— Ха! Слово! Слово слову рознь, а тут не иначе, как кочетиное слово было! Слушай, что дальше-то будет, чай, примечай, куда чайки летят. Лесник мой не унялся, опять полез на печь. «Нащупал я, говорит, темя солдатово, обернул востряком колун и ухнул со всей силы-возможности. Ухнул и жду, а солдат приподнялся, да как захо-хо-очет! «Ну, говорит, хозяин, видно, у тебя не выспишься у тебя, говорит, черти, без сомнения, водятся: видно, подложили плотники щетины под матицу и развели у тебя этих самых чертей видимо-невидимо. Сейчас один меня ровно прутом каким по лбу жиганул. Аж засвирбело...» Что тут делать? Отполз я от печи, а солдат поднялся и, слышу, обувается. «Хозяин, а хозяин, говорит, скоро свет, мне пора итить,

проводи меня из лесу». Ну, думаю, и того лучше: угомоню его в лесу, мне же выгодней,— избу поганить не надо. Вскочил, будто спросонья: «А? Что? Проводить? Ладно, мол, идем...» Надеваю армяк, трясусь с ног до головы, никак в рукав не попаду, а сам за дубинку ловлюсь: стояла у меня в уголке на ту пору ха-а-рошая орясина, пудиков трех весом. А солдат умывается и — хохочет! Берет в рот воду из махоточки, льет из рота на руки, нагинается, моет лицо и хохочет... Чисто черт какой! Вышли, наконец того, пошли... Мне бы, дураку, давно пора понять, что никак не возьмет сила моя супротив ума солдатова, а я пру да пру, на затылок его стриженый гляжу. Он передом, в ранце своем телячьем, сам меньше ранца, я — за ним, по пятам, вроде медведя какого. Стало, вижу, белеть вверху, дождь редеть да редеть, прояснилось в лесу. Дождался я спуску в ложок, приподнял свой корешок да и пустил с навесу по затылку солдатову. А солдат...»

Буравчик быстро взглянул на свесившуюся голову старостихи и уставился радостно-блестящими глазами в Александра:

— «А солдат клюнул этак носом, шапку подхватил, поправил, обернулся, будто удивился очень, да и говорит этак строго да внятно: «А-а, говорит, вот какой домовой-то в избе у тебя завелся! Поним-аю! Видно, надо поучить его маленько...» Поставил тихим манером ружьецо свое берданское к сосне, засучил рукава... «Ну-ка разинь рот»,— говорит. А я уж и дубинку уронил от ужасти и ничего не смыслю. Однако разеваю. «Да нет, говорит, ты пошире, пошире, стыдиться тут нечего!» Разеваю, сколько есть моей силы. Берет тогда солдат меня за зуб пальцами, давит его, как клещами железными, и вынимает вон из рота, в горсть себе кладет. Вынимает опосля того и другой тем же побытом, вынимает и третий, вынимает четвертый...»

Остановились и у Александра его ясные глаза. А Буравчик, насладившись его ожиданием, уперся руками в колени, лихо расставил локти и отчетливо, раздельно стал доканчивать:

— «Выбрал он мне, без сомнения, зубы до единого, вынул лычко из карманчика: «Держи подол»,— говорит. Я держу, подставляю. Положил солдат в подол цельную горсть моих зуб, завернул, закатал и так-то аккуратненько завязал, закрутил его лычком. «Это, говорит, мужичок-серячок, на память тебе, а это на помин души моей...» И вынимает, подает мне сотельный билет!»

— Это не плохо,— с улыбкой мотнул головой Александр.

Буравчик залился смехом.

— Дай бог всякому! — воскликнул он.— Да ведь знаешь, сладок мед, а не по две ложки в рот. Деньги-то он приобрел, а зуб лишился. «Я, говорит, деньги-то беру, а сказать ничего не могу: хочу слово сказать, да с непривычки только челюсью ворочаю. А-а, а-а,— только и всего. Хочу сказать: солдатушка...»

Буравчик, смеясь, поднял брови, сделал жалкое лицо.

— «Хочу сказать,— смеясь и почти плача, закричал он тонким голосом,— хочу сказать: солдатушка, а выходит: саатушка...»

Стягивая с блюдца воду и куски кренделей, он еще долго крутил головой, морщился, смеялся и повторял последние слова. Старостиха, сложив руки, крепко спала. Лампочка коптила, прусаки, пользуясь сумраком, бегали по старым бревенчатым стенам. На черных стеклах блестели капли дождя.

— Побаску твою понимаю,— сказал наконец Александр.

— Сила, значит, не в медведе,— пояснил Буравчик.

— Не иначе.— подтвердил Александр.— Был и у нас случай подобный. Я сам очевидец был. Будет этому, дай бог не солгать, лет небось пятнадцать тому назад. Был у нас в Панютине малый — дурак, звали его Бурлыга. Потому не мог он чисто сказать: тоже двух зубов на переде не хватало,— кобыла вышибла. Все, бывало: бур, бур. За то и Бурлыгой прозвали. Малый, говорю, был дурак, картавый, а вот, не хуже твоего лесника, рослый, здоровый, чистый палач. Потому его внешность дозволяла. Так вот, случись у нас в селе ярманка. Собрались его товарищи по пьяному виду, сидят на выгоне. Конечно, тут и водка, и всякая закуска при них. Зашел разговор, как вот у нас с тобой, про силу, а он, конечно, пьяный,— бывает, тверезый того не сказал бы, а тут: бур, бур, я, говорит, никого не боюсь, и бога никакого нету...

— Ну, уж это-то сдуру,— рассеянно сказал Буравчик, вздыхая после смеха, завертывая новую цигарку и думая о чем-то.— Это уж сдуру.

— Понятно, сдуру,— подтвердил Александр.— Подивились все ему. Мол, не снесешь ты, малый, своей головы! А он поднялся, пошел в народ, увидал свою кралю, сделал ей любовный знак. Подходит она к нему. Зачал он при ей еще пуще куражиться. Глаза помутил, полушубок размахнул, усы мокрые косицами в щербину лезут. Видит — сидит какой-то старичок на телеге, лопатами торгует, а в телеге лежит, связан, большой белый баран, тоже, значит, продается. Лобик, поясница краской фуксином помечены. Рога здоровые, хвост толстый. А сам старичок легонький, как пух, в сером халатнку, в белом колпачке из простой холстины и в чуньках покойницких. Сидит на грядке, закусывает калачиком. А малый-то мой сдуру куражится, ломается, лезет на него...

— Своей беды не чует,— вставил Буравчик в лад Александру, тем же тоном, каким и Александр вставлял замечания в его рассказ.

— Да, беды своей не чует,— повторил Александр. «Сейчас, говорит, пойду, всю его амуницию расшибу и барану хвост отломлю». Любовница его мазаная, конечно, тоже уродничает, притворяется, упрашивает его. А он-то качается, ломается, будто пьян дюже! «Прошу тибе, не трожь ты мне, а то я хуже наделаю. Против силы моей, говорит, богатыря во всей державе не найдется». Подходит, значит, к старичку. «Бур, бур, дай, говорит, калачика мне». Старичок вынимает из телеги калач свежий, подает, а малый Бурлыга берет, а сам прицеливается барана сгресть, хвост ему зачать ломать. А старичок поглядел этак скромненько, слез с грядки, лопату поднял, да как размахнется, да как ахнет... Норовил-то по малому, а попал мерину по боку — аж по всей ярманке отозвалось! Мерин с ног долой, порядочно лопат переломал, ухнув, дохнул, да и каюк,— красная вода носом пошла. Тут, конечно, народ бежит, а старичок зашел за народ — да потуда его и видели. Как в воду канул. Мерин завалился, лежит, а баран сидит в телеге и на Бурлыгу лупится...

— Ну, а старик-то,— рассеянно перебил Буравчик,— он-то куда ж мог пропасть?

Александр подумал.

— А шат его знает,— сказал он.— Значит, слово такое знал. Значит, тоже прикоснулся он сатане... вот не хуже солдата твоего, либо тебя.

— Меня? — с притворным удивлением крикнул Буравчик, и глаза его блеснули довольством.— Ай ты очумел? Я-то тут при чем?

— Будя толковать-то! — сказал Александр ласково и грустно.— Авось слыхали про тебя. Ты, брат, тоже мал, да удал. Тоже хорош... Живучее всякой кошки али, скажем, козюли. Ты ее ралом, она тебя жалом... Ну, ты сам посуди: что ты предо мной? Я тебя могу двумя щептями задавить. А куда ж мне, дураку, справиться с тобой? Ты захочешь — кровинки во мне не оставишь, дотла всего высосешь. Я, к примеру, могу две полнивы за день взодрать... Да и взодрал-таки на своем веку, дай бог всякому. А чего добился? Один хрест на шее, только и всего. А ты вот тысячами ворочаешь... Нет, как можно! — сказал он с непонятным восхищением.— Я твоего ногтя не стою!

Буравчик молчал, загадочно и довольно улыбаясь. Что-то думая, он наклонил самовар и стал нацеживать последнюю чашку.

16.VIII.1911

ЗАХАР ВОРОБЬЕВ

На днях умер Звха́р Воробьев из Осниовых Дворов.

Он был рыжевато-рус, бородат н настолько выше, крупнее обыкновениых людей, что его можно было показывать. Ои н сам чувствовал себя прннадлежащнм к какой-то нной породе, чем прочне людн, н отчастн так, как взрослый среди детей, держаться с которымн прнходится, однвко, иа равной иоге. Всю жнзнь,— ему было сорок лет,— не покидало его н другое чувство — смутное чувство одиночества: в старнну, сказывают, было много такнх, квк он, да переводнтся эта порода. «Есть еще однн вроде меня,— говорнл он порою,— да тот далеко, под Задоиском».

Впрочем, настроен ои был неизменно превосходно. Здоров иа редкость. Сложен отлнчно. Он был бы даже красив, еслн бы не бурый загар, не слегкв выворочеиные ннжнне векн н ие постоянные слезы, стеклом стоявшне в ннх под большимн голубымн глазамн. Борода у иего была мягквя, густая, чуть волнистая, так и хотелось потрогать ее. Он часто, с ласковостью гнганта, уднвленно улыбался и откидыввл голову, слегка открывая красиую, жаркую пасть, показывая чудесные молодые зубы. И прнятный запах шел от него: ржаной звпах степняка, смешанный с запахом дегтярных, крепко ковaиных сапог, с кнсловатой вонью дубленого полушубка и мятным вроматом июхательного твбаку: он не курнл, а нюхал.

Он вообще был склонен к старнне. Ворот его суровой замашиой рубахи, всегда чистой, не застегнвался, а завязывался маленькой красиой ленточкой. На пояске внсели медный гребень и меднвя копаушка. Лет до трндцатн пяти носнл ои лапти. Но подрослн сыновья, двор спрввнлся, н Захвр ствл ходить в сапогвх. Зиму н лето не сннмал ои полушубка н швпкн. И полушубок остался после него хорошнй, совсем новый, зелено-голубые разводы н мелкне нашнвки нз разноцветного сафьяна на краснво простроченной грудн еще не слнннлн. Бурый котнк,— опушка борта и воротинка,— был еще остист н жёсток. Любнл Захар чнстоту н порядок, любил все новое, прочное.

Умер он совсем неожндаино.

Было иачало августа. Он только что отмахвл порядочный крюк. Из Оснновых Дворов прошел в Красную Пальиу, на суд с соседом. Из Пальиы сделал верст пятнвдцать до города: иужно было побывать у барыни, у которой сннмал он землю. Из города прнехвл по железной дороге в село Шнпово н пошел в Осиновые Дворы через Жнлое: еще верст десять. Да не то свалнло его.

— Что? — уднвленно н царствеино-строго сказал бы он своим бархатным басом.— Сорок верст?

И добродушно добавнл бы:

— Что ты, малый! Да я нх тыщу могу нсделать.

Был первый Спас. «Хорошо бы теперь для праздничка выпнть маленько»,— шутя сказал ои в Шнпове знакомому, петрнщевскому кучеру, проходя по залнтому мелом вокзалу, который, как всегда летом, ремонтнровалн. «Что ж ие пьешь? Кствтн бы н мне поднес»,— ответнл кучер. «Не иа что, протратнлся, н так в грузовом вагоне ехвл»,— сказал Захар, хотя деньги у иего былн. Кучер подмнгнул приятелю, урядннку Голнцыиу. Прнстрял шнповскнй мужнк, пьяннца Алешка. И все четверо вышлн из вокзала. Захар н Алешка пошлн пешком, кучер сел в тележку, запряжеииую парой,— он выезжал за Петрнщевым, да тот не прнехал,— урядннк иа дрожкн-бегункн. И Алешка тотчас затеял спор: может лн Захар выпнть в час четверть?

— А с закуской? — спроснл Захар, шнроко шагвя по сухой земле, нзрезвнной колеямн, возле высокой кобылы урядннка н порой осаживая вниз оглоблю, поправляя коснвшую упряжь.

— Можешь требовать чего угодио, иа полтинннк,— сказал кучер, человек иедалекнй, сумрвчный.

— А проспорншь,— прнбавил Алешкв, оборванный мужнк с переломленным носом,— а проспорнщь, за все втрое отдашь.

— Нехвй будя по-вашему,— снисходительно отозвался Захар, думая о том, чего спроснть на закуску.

Ои не только ие устал от путешествня в Пальну,— где дело кончнлось превосходно, миром,— ие только не истомился, промучившнсь в городской жаре двое суток, но даже чувствовал подъем, прнлнв силы. Ему всем существом своим хотелось сделать что-ннбудь нз ряда вон выходящее. Да что? Выпнть четверть — это не бог весть какая штука, это ие ново... Удивнть, оствнть в дураках кучера — иевелик нитерес... Но все-таки нв спор пошел ои охотно. И, прннявшнсь зв еду н питье, сперва наслаждался едой,— есть очень хотелось, квждый кусок был сладок,— потом своим рассквзом о суде.

Был жаркий день. Но вокруг села, нв просторе желтых полей, покрытых копнвмн, было уже что-то предосеннее, легкое, ясиое. Густая пыль лежалв на шнповской площади. Площадь отделяют от села дровяные склады, булочная, винная лавка, почтовое отделеине, голубой дом купца Яковлева с палнсаднником прн нем н две лавкн его в особом срубе иа углу. Возле черной лавкн ступенькамн навалеи сосновый тес. Сндя на нем, Звхар пил, ел, говорил и смотрел иа площадь, ив блестевшие под солнцем рельсы, на шлагбаум горбатого переезда н на желтое поле за рельсамн. Алешка сндел рядом с ним н тоже закусывал — подрукавным хлебом. Урядник — скучный, запыленый человек с подстриженнымн усвмн, в обтрепанной шннели с оранжевымн погонами,— урядиик и кучер курили, одни иа дрожках, другой в тележке. Лошадн дремали, терпелнво ждали, когда прнкажут нм трогвться. А Захар рассказывал.

— Чем дело-то кончнлось? — говорнл ои.— Да ничем. Помнрилнсь. Я этнх судов, пропвдн онн пропадом, с отроду не знавал, ин с кем ие суднлся. Мне сам батюшка-покойннк заказывал этн свары. А тут н свара-то вышла пустая. Бабы повздорнлн, а мы сдуру ввязалнсь...

Он уже выпил бутылкн трн — нз деревянного корца, который достал иа дворе Яковлева Алешка; он делал свое дело столь легко, будучн столь уверенным в себе, что даже не звмечал того, что делал. Кучер, урядннк и Алешка из всех сил прикндывалнсь спокойиымн, хотя душа каждого нз ннх горячо молнла бога, чтобы Захвр упал замертво. А ои только расстегиул полушубок, чуть сдвииул шапку со лба, рвскрвснелся. Ои съел две твранки, громадный пук зеленого лука н пять фраицузскнх хлебов, съел с твким вкусом н толком, что двже протнвннкн его днвнлись ему, и ожнвленно, чуть иасмешлнво, говорнл:

— А иа судах этих чудно́! Я и нтнть-то туда не хотел. Слышу — подвл прошенье. Ну, подвл н подал, не замай, в я, мол, не пойду. Только вдруг прнезжает в Пальиу начвльство, прнсылает за миой сам заседатель. Ах, пропасти на тебя нету! Ннчего не поделаешь — надо итить. Взял хлебушкв, попер. Жара ужашная, пыль по дороге как пыс, альнн нтнть горячо. Ну, одиако, прнхожу. Шел дюже поспешио, являюсь...

Держа пустеющую бутыль под мышкой, он цеднл в темиый корец светлую влагу, иввполиял его до краев н, рвзглвднв усы, прнпадал к ней, пвхнущей остро н сытио, влажиымн губами; тянул же медлению, с наслаждеинем, квк ключевую воду в жаркнй деиь, а допнв до дна, крякал и, перевернув корец, вытряхивал нз него последние капелькн. Потом осторожно ствввнл бутыль возле себя. Кучер не спускал с нее своих угрюмых глвз; урядннк, уже передвннувшнй тайком стрелку часов ив целую четверть вперед, тревожно переглядывался с Алешкой. А Захвр, поставив бутыль, брал две-трн стрелкн лука, ломая, забивал нх в большую деревянную солонку, в крупиую серую соль, н пожирвл с аппетнтным, сочным хрустом. Глаза его иалились кровью н слезвмн, казалнсь стрвшнымн. Но он улыбался, грудиой бас его был звучен, ласков, прнятио насмешлнв.

— Ну, являюсь,— говорнл он, прожевывая н раздувая иоздри.— Внжу, на улице везде иарод, под лозннкой в холодке сндит заседатель в майском пннжаку, с русой бородкой, на столике книги усякие, бумаги, а рядом,— Захвр повел рукой иалево,— урядннк что-й-то запнсывает красиым осьмнгранным караидашиком. Вызывают хресть-

янина Семена Галкина, обухоаского. «Семен Галкин!» — «Здесь».—«Поди сюда». Подходит; начинают допрашивать. А он на урядника и не глядит, достает грушу из кармана, стоит, ест. Урядник приказывает: «Кинь грушу!» Он не слухается, доедает...

— По морде бы его этой грушой,— сказал кучер.

— Верно! — подтаердил Захар, разламывая седьмую, последнюю, булку.— Стоит и лопает! Обращается заседатель к уряднику. «Вот, гоаорит, господин урядник, этот самый хрестьянин Семен Галкин, когда я прошлый раз с описью приезжал, отказался платить по исполнительному листу сорок аосемь рублей аосемь гриаен, а когда я хотел описать какой есть его лесишко и анбар, то, гоаорит, этот самый Галкин со саоими дружьями, даумя братьями Иааном и Богданом, сели на дереаа, на бреана эти аозле избе, и не дозаолили мне саершить опись. А когда я азошел к ему а избу, то он будто невзначай спросил у саоей жаие, где тут у нас безмен, что́ было сказано про меня, и я это принял на саой счет, а Богдан тем аременем подошел к окну и с косой на плече, когда косить ему нечего было, асе даано скошено. А как я был один, то принужден был удалиться. Вот изаольте аспросить его жаиу Катерину и мать Феклу и показания от ней занесть в протокол. А еще а опросный лист заиесите показанье церкоаного старости, хрестьянина Федота Леаноаа. А еще, что сельский староста Герасим Сааельеа а энтот день пропал бе́з аести и на мои требоаания не яанлся, а когда я уходил от Галкина к Митрию Оачинникоау, иде был мой мерин, и проходил мимо его избе, то он притрааил меня кобелем, а сам спрятался за аорота, что я заметил очень хорошо, и посаистыаал, да, слааа богу, так случилось, что кобель меня не поранил, хоть кидался примо на грудь, сигал как бешеный, асе благодаря Митрию, который аыскочил с кнутом и тем меня оградил...»

Захар, увлекаясь ладностью саоего рассказа, точно прочитал последние слоаа. Без передышки, заучено и таердо передаа заяаление заседателя, он хотел было продолжать, но Алешка не аытерпел и крикнул:

— Потом доскажешь! Пей! Урядник, глянь-ка на часы-то.

— Успеется, успеется,— отаетил урядник и подмигнул Алешке.

Но не заметил этого Захар.

— Да не гамазись ты, черт куриосый! — гаркнул он добродушно.— Дай доказать-то! Я саою время знаю,— аыпью, не бойся!

Ноги его твердо стояли на краешках коааных каблукоа,— он с гордостью аыстаанл сапоги и порою без нужды подтягиаал голенища,— лицо было красно, но еще не пьяно. Преуаеличенно-низко раскланяашись с мужиком, проехаашим мимо а пустой телеге и аинмательно оглядеашим его, он шумно, через ноздри дохнул, взял обеими руками борты жаркого полушубка, даинул ворот назад и продолжал, наслаждаясь яркостью картины, заняашей его аоображение, игрой саоего ума.

— «Катерина Галкина! — громко, грудью гоаорил он, изображая всех а лицах.— К допросу. Подойди поближа!» Подходит. «Слышала, что господин заседатель сказали?» — «Слышала...» А сама плачет, заикается, ничего толком рассказать не может. «Праада ли, что таой муж безмен про господина заседателя упомянул?» — «Я, гоаорит, этого ничего знать не могу. Хотел муж о́сты аешать».— «Значит, ты от этого отказыааешься?» — «Ничего про эти дела не знаю. Федька асему пераый полкоаодец. Его опросите,— и дело к разаязке, и греха меньше...» Кличут сейчас старуху. Феклу. А старуха сухоногая, дерзкая, отвечает — ноздри рает. «Имушшестао, гоаорит, моя, за сына я не плательщица, по прааам покойного мужа асем аладаю, а у сына ничего нету, одни портки».— «А сын-то чей же?» — «Мой».— «А раз сын таой, и толкоаать нечего, за неплатеж имушшестао отаечает. Ступай, не разгоааривай, а за дерзкий отает посажу тебя а арестанку на даое суток на́ хлеб, на́ аоду...» Угомонил, значит, старуху. Вспрашивает, где церкоаный титор Федот Леаноа? Подходит дочь его Винадорка.— «Иде отец?» — «В клети, после обеда отдыхает».— «Беги, зови его суда. Скажи, начальство требует...» А он через даор живет...

— Близко, значит? — перебил урядник и быстро переглянулся с Алешкой и кучером.— Так, так... Ну, доказыаай, доказыаай. Ты, брат, на удналение гораздо рассказыаать!

Он гоаорил что попало, лишь бы оталечь аинмание Захара,— он, аынуа часы и спрятаа их между колеиями, передаигал стрелку еще на десять минут вперед. И Захар, с просняашим от похаалы лицом, еще шумнее аыдохнул аоздух, мотнул голоаой, отсажиаая горячий густой мех полушубка от лопаток, и загудел еще аыразительнее:

— Верно! Слухай же, не перебиаай, а то осерчаю... Вижу, лезет из низкой клетки приземистый старик... Идет через дорогу в избу — без шапки, а розоаой иоаой рубахе распояской, и аорот от жары расстегиул. А из избе выходит а ноаой теплой поддеаке, подпоясан зеленой подпояской, шапку а руках несет. Подходит. Волосы гу́стые, седые, разложены ароде как рожки у барана, на обе стороны. С урядником, с заседателем — за ручку. (Богатый, аидать, старик.) Пошушукался что-й-то с ними, показывает на Сеньку. Потом аынимает большой гамаи кожаный, стал отсчитыаать трехрублеаки обмороженными культышками... Потом Винадорку кличет. Приказыаает самоаар стааить, зоает к себе урядника и заседателя чай пить: «Приходите мою охоту посмотреть, пчел моих, и какую я себе посуду зааел. А еще кобылку мою гляньте. Ну, ясна, саетла,— ася писаная, в яблоках!» Смеется, моршшится, гнилые корешки а красном роте показыаает... «Не посмотреть, гоаорит, нельзя, того лошадиный закон требует. А может, и сторгуемся, про что гоаорили-то...» И опять смеется, сипит, как змей. Пошел к избе, заскребает пыль сапогом по дороге — хаорсит...

— Форсит-то, форсит,— опять перебил урядник, аынимая часы,— а аедь пять минут асего осталось. Тебе теперь одним духом надо допиаать.

Лицо Захара сразу изменилось.

— Как? — строго крикнул он.— Да ты брешешь! Ужли цельный час прошел?

— Прошел, брат, прошел! — подхаатили кучер и Алешка.— Допиаай, допиаай!

Захар дохнул, как кузнечный мех, и закрыл глаза.

— Стойте! — сказал он.— Это неладно. Вы меня обмошенничали. Дайте еще сроку полчаса. Глааная вещь, я сопрел аесь. Жара! Аагуст. Черт с аами, я аам лучше сам бутылку постааою. А аы мне сроку накиньте... Ну, хоть доказать только дайте про этот самый суд! — попросил он сумрачно.

— Ага! Покаялся! — крикнул кучер насмешлиao.— Жидок на распраау!

Захар останоаил на нем кроааый, тяжелый азгляд. Потом, ни слоаа не гоаоря, азял бутыль за горло, до дна опорожнил ее, с краями наполнил корец, и до дна аысосал его. И, слегка задохнуашись, грубо сказал:

— Ну? Сыт ты ай нет?.. А теперь — буду доказыаать! — с упрямстаом хмелеющего челоаека сказал он.— Вот ты и глянешь, напоил ты мине, али у тебе и потрохоа не хаатит на это...

И аруг опять поаеселели страшные глаза его, лицо опять стало аажным и добродушным.

— Теперь аы обязаны слухать! — асей грудью сказал он и продолжал, но уже не так складно и хорошо: — Опосля этого вызыаают знахаря, Василь Иааноаа. Этот соасем худой, а поддеаке серой, аиски ароде пеньки и бородка клинушком. И еще пуще старика моршшится,— не то от солнца, не то от хитрости... шат его знает. Этот, аыходит, старуху опоил. Дааал ей лекарстау какую-то,— быаает, аелел пить по маленькому стаканчику, а она и аозьмись глушить его большими стакана́ми... Вызыаают его. «Как тебя зовут?» — «Был Василий».— «Кто тебе дал прааа лечить, мерзааец?» А у них уж раньше, конешно, был сгоаор: Васька небось уж сунул им. Ну, а при народе, изаестно, надо же для близиру поорать. Вспрашиаал, аспрашиаал, потом опять как закричит на него: «Скройся из глаз моих а осинник!» Тот будто и испужался: шапку

поскорее на голову — и шмыг, шмыг в осинник... Так, значит, дело и затерли. Погляделся урядник в зеркальцо, поправил саблю, сложил свои бумаги... «Ну, говорит, идем, что ль, к старику-то? Очень мне хочется, чтоб мерин еще отдохнул».— «А сколько сейчас время?» Выкул урядник новые часы, селебряные, глянул: «Тридцать восемь первого».— «Ну, пойдемте, надо его охоту посмотреть, старик добре гордится». Поднялись, пошли чай пить. А мужики остались, расселись, как во́роны, на срубленных деревах возле избы, подняли гам. Иные говорят, что не надо до продажи допускать, иные — что нельзя начальство обижать. Пуще всех какой-то худой мужик орет, срезался со стариком одним. Мужик кричит, что плохо у нас жить, по чужим странам лучше, киргизу и то способней,— у того, по крайности, степя аграматные... А старик кричит,— у нас лучше...

Ему казалось, что он мог говорить без конца и все занятнее, все лучше, но, послушав его, убедившись, что дело пропало, свелось только на то, что Захар опил, объел их да еще без умолку рассказывает чепуху, кучер и урядник тронули лошадей и уехали, оборвав его на полуслове. Алешка посидел немного, поподдакивал, выпросил четыре копейки на табак и ушел на станцию. И Захар, совершенно не удовлетворенный ни количеством выпитого, ни собеседниками, остался один. Повздыхал, помотал головой, отодвигая ворот полушубка, и, чувствуя еще больший, чем прежде, прилив сил и неопределенных желаний, поднялся, зашел в винную лавку, купил бутылку и зашагал по переулку вон из села, пошел по пыльной дороге в открытом поле, в необозримом пространстве неба и желтых полей. Солнце опускалось, но еще пекло. Полушубок Захара блестел. Направо от него падала на золотистое пересохшее жнивье большая тень с сиянием вокруг головы. Сдвинув горячую шапку на затылок, заложив руки назад, под полушубок, Захар твердо ступал по твердой под слоем пыли земле, не мигая, как орел, смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор, похожий на простор песчаной пустыни, на раскинутые по нем несметные копны, похожие вдали на гусениц,— и по горизонтам, по копнам мелькали перед его кровавыми, слезящимися глазами несметные круги — малиновые, фиолетовые и малахитовые. «А все-таки я пьян!» — думал он, чувствуя, как замирает и бьет в голову сердце. Но это ничуть не мешало ему надеяться, что еще будет нынче что-то необыкновенное. Он останавливался, пил и закрывал глаза. Ах, хорошо! Хорошо жить, но только непременно надо сделать что-нибудь удивительное! И опять широко озирал горизонты. Он смотрел на небо — и вся душа его, и насмешливая и наивная, полна была жажды подвига. Человек он особенный, он твердо знал это, но что путного сделал он на своем веку, в чем проявил свои силы? Да ни в чем, ни в чем! Старуху пронес однажды на руках верст пять... Да об этом даже и толковать смешно: он мог бы десяток таких старух донести куда угодно.

Воображение его, жадное во хмелю до картин, требовало работы. Он шагал все шире, твердо решив не дать солнцу обогнать себя,— дойти до Жилова раньше, чем оно сядет,— и думал, думал... Бутылка подходила к концу. И он чувствовал, что необходимо выпить еще маленько — у хромого мещанина, сидельца в Жильской винной лавке, на большой дороге. Солнце опускалось; на смену ему поднимался с востока полный месяц, бледный, как облачко, на ровной сухой синеве небосклона. Чуть уловимый, по-вечернему душистый дымок тянул откуда-то в остывающем воздухе; оранжево краснели лучи, сыпавшиеся слева по колкому сквозному жнивью, краснела пыль, поднимаемая сапогами Захара; от каждой копны, от каждой татарки, от каждой былинки тянулась тень. «Да нет, шалишь, не обгонишь!» — думал Захар, поглядывая на солнце, вытирая пот со лба и вспоминая то битюга-жеребца, которого за передние ноги поднял он однажды на ярмарке, заспорив о силе с мещанами, то литой чугунный привод, который выволок он прошлым летом из риги на гумне барина Хомутова, то эту нищую старуху, которую тащил он на руках, не обращая внимания на ее страх и мольбы отпустить душу на покаяние. Остановясь, раздвинув ноги, от которых столбами пала тень на жнивье, Захар вынул из глубокого кармана полушубка бутылку, глянул на нее против солнца и весело ухмыльнулся, увидав, что и бутылка и водка в ней зарозовели. Закинув голову, он вылил водку в разинутый рот, не касаясь бутылки губами, и хотел было запустить ее выше самого высокого, самого легкого дымчатого облачка в глубине неба. Но, подумав, удержался: и так израсходовался! — сунул бутылку в карман и опять зашагал, с удовольствием вспоминая старуху.

«Ах, расчудесная была старуха!» — думал он, глядя то на солнце, то на сереющие за дальними копнами избы. Шел он недавно по паровому полю. Глядь, лежит на сухой навозной куче старуха-побирушка и стонет. Был он порядочно выпивши, и, как всегда во хмелю, жадно искала душа его подвига — все равно, доброго или злого... даже, пожалуй, скорей доброго, чем злого. «Бабка! — крикнул он, быстро подходя к старухе.— Ай помираешь? Ай убил кто? Чем перед кем провинилась?» Старуха,— она была вся в лохмотьях, бледное лицо ее было в запекшейся крови, глаза закрыты,— зашевелилась и застонала. «Да что ж ты молчишь? — гаркнул Захар грозно.— Раз тебе спрашивают, можешь ты мне не отвечать? Знаит, так и будешь лежать? Скотину скоро погонят — баран заваляет, замучает... Вставай сию минуту!» Старуха вдруг заголосила, взглянув на него, огромного и страшного. «Батюшка, не трожь меня! Меня и так бык закатал. Пожалей меня, несчастную!» — «Не могу я тебя пожалеть! — еще грознее заорал Захар, почувствовав вдруг жалость и нежность к старухе.— Вставай, говорят тебе!» Старуха приподнялась и тотчас же опять упала и заголосила еще пуще. Тогда, не помня себя от жалости, Захар сгреб ее в охапку и почти бегом помчал к селу. Старуха, обхватив обеими руками его воловью шею, задыхаясь от запаха водки, исходившего от него, тряслась на бегу, а он, боясь заплакать, быстро бормотал, стараясь, сколь возможно, смягчить свой бас: «Да что ты? Ай очумела? Чего бонишься? Молчи,— говорю тебе, молчи, ни об ком не думай! Обо всем забудь!» — «Не могу, батюшка! — отвечала старуха.— Никакого счастья не вижу себе, одна во всем свете, ни напитков, ни наедков сладких отроду ни видала...» — «А я табе говорю, не голоси! — говорил Захар.— Всякий свою стежку то́пча! У всякого своя печаль! Копти! — гаркнул он на все поле, ощутив внезапный прилив бурной радости.— Ешь солому, а хворсу не теряй! Сейчас за мое почтение доставлю тебя на хватеру! А за быка за этого тебя драть надо. Чего шатаешься, скитаешься? Зачем к стаду лезла? Тебе надо округ баб находиться. С ними ты можешь разговор поддержать. А бык, он, брат, не помилует!» — «Ох, постой,— застонала старуха, уже смеясь сквозь слезы.— Всю душу вытряс...» И Захар заорал еще грозней: «Бабка, молчи! А то вот шарахну тебя в ров — костей не соберешь!» И захохотал, раскрывая пасть, раскачивая старуху и делая вид, что хочет со всего размаху пустить ее с косогора...

Спина его была мокра, лицо сизо от прилива крови и потно, сердце молотами било в голову, когда, гордо глянув на мутно-малиновый шар, еще не успевший коснуться горизонта, быстро вошел он в Жилое. Было мертвенно тихо. Нигде ни единой души. Ровная бледная синева вечернего неба надо всем. Далекий лесок, темнеющий в конце лощины. Над ним полный, уже испускающий сияние месяц. Длинный, голый зеленый выгон и ряд изб вдоль него. Три огромных зеркальных пруда, а между ними две широких навозных плотины с голыми, сухими ветлами — толстыми стволами и тонкими прутьями сучьев. На другом боку другой ряд изб. И так четко все в этот короткий час между днем и ночью: и контуры серых крыш, и зелень выгона, и сталь прудов. Один, слева, чуть розовеет, прочие — две зеркальных бездны, в которых точно влиты отраженный месяц и каждый ствол, каждый сучок.

— Фу, пропасти на вас нету! — шумно вздохнул Захар, приостанавливаясь.— Как подохли все!

Ему захотелось рявкнуть так, чтобы в ужасе высыпал на выгоны весь этот мелкий народишко, спрятанный по

избам. «Да нет, нет,— подумал он, мотая головой,— ошалел я, пьян... Непристойно думаю, неладно... Домой надо поскорей... Домой...»

И вдруг почувствовал такую тяжкую, такую смертельную тоску, смешанную со злобой, что даже закрыл глаза. Лицо его стало котельного цвета, отделилось от русой бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багряных кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть. Ах, домой бы теперь, да в ригу, да в солому! Но, постояв, Захар открыл глаза и, вместо того, чтобы свернуть влево, на Осиновые Дворы, упорно зашагал, перейдя плотину, на большую дорогу, к винной лавке.

О, какая тоска была на этой пустынной, бесконечной дороге, в этих бледных равнинах за нею, в этот молчаливый степной вечер! Но Захар всеми силами противился тоске, говорил без умолку, пил все жаднее, чтобы переломить ее и наказать этого курчаво-рыжего, со стоячими белыми глазами хромого мещанина, подло и радостно засуетившегося, когда Захар, предложил ему поспорить: может он, Захар, выпить еще две бутылки или нет? Винная лавка, вымазанная мелом, странно белела против блеклой синевы восточного небосклона, на котором все прозрачнее и светоносиее делался круг месяца. Возле лавки стоял столик и скамейка. Мещанин, в ситцевой рубахе и обтертых докрасна опойковых сапогах, торчал возле стола, осев на одну ногу и касаясь земли носком другой,— выставив кострец, и, как обезьяна, с необыкновенной ловкостью и быстротой грыз подсолнухи, не спуская своих бельм с Захара. А Захар, поднимая грудь, сжимая зубы, стискивая, точно железными клещами, своими огромными пальцами край стола, облизывая сохнущие губы, обрывая каждое слово бурным вздохом, плохо соображая, что он говорит, поминутно проваливаясь в какую-то черную пропасть, спешил, спешил досказать, как он нес старуху...

И вдруг, размахнувшись всем туловищем, быстро встал, далеко отшвырнул ногой стол вместе с зазвеневшей бутылкой и граненым стаканом и хрипло сказал:

— Слухай! Ты!

И мещанин, уже разинувший было рот, чтобы крикнуть на Захара за бесчинство, взглянув на его бело-сизое лицо, онемел. А Захар, собрав последние силы, не дав сердцу разорваться прежде, чем он скажет, твердо договорил:

— Слухай. Я помираю. Шабаш. Не хочу тебя под беду подводить. Я отойду. Отойду.

И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки.

Эта лунная августовская ночь была жутка. Отовсюду бесшумно бежали бабы и ребятишки к кабаку; сдержанно и тревожно переговариваясь, шли мужики. Лунный свет прозрачнейшим дымом стоял над сухими жнивьями. А среди большой дороги белело и блестело что-то огромное, страшное: кто-то покрыл коленкором мертвое тело. И босые бабы, быстро и бесшумно подходя, крестились и робко клали медяки в его возглавии.

Капри. Февраль. 1912

ЗАБОТА

Солнечный осенний вечер прохладен. Из-за дворов большого села, растянувшегося по скатам к лугам, к родниковой речке, желтеют новые ометы и скирды. Улица села в тени, солнце опускается за дворами, за гумнами — и ярко краснеют против него глинистые бугры по ту сторону лугов, блестит на этих буграх стекло в избе мельника.

Старик Авдей Забота, зажиточный мужик, собирается в город.

Возле его двора, на дороге между двором и пунькою, дремлет запряженная в телегу сивая кобыла с мелкими, врозь расставленными копытцами, с большими ресницами, с серыми усами и большой шершавой нижней губой. Авдей курчав и сед, крупен и сумрачен; на плоской спине его, под линючей ситцевой рубашкой, выдаются лопатки. Он ходит возле телеги, набитой соломой, с молотком в руке, держит губами пучок гвоздей и ни на кого не смотрит.

У него горе.

Он в последние дни мучился думами: продавать ли барана? Баран стар, но продавать его не след, не время. Продавать нужно было бы хлеб. Осень погожая, урожай отличный, одна кладушка уже обмолочена — только бы насыпа́ть да в город. Но цены на рожь, на овес стоят страшно низкие. Ни зерна нельзя продавать, как ни торопи нужда... Продумав неделю, Авдей решил расстаться лучше с бараном.

Но он постарел за эту неделю, осунулся и потемнел в лице. Взгляд его тверд и сумрачен. Собирается он, ни на кого не глядя.

Дочь, в нижней коленкоровой юбке, без кофточки, в одних шерстяных чулках, раза два робко и быстро перебежала дорогу от избы к пуньке. Она тоже собирается — на девишник к подруге, но боится отца, боится своей затаенной радости, своей беззаботности рядом с его заботой,— старается проскользнуть незаметно. Братишка, пузатый мальчик, в огромной старой шапке, облизывая губы, разъеденные соплями, долго хлопал, размахивал обрывком кнута и падал среди дороги. Чтобы угодить отцу, она на бегу поймала его ледяную пухлую ручку и таким вихрем умчала его в избу, что он не успел даже крикнуть.

Старуха стоит на пороге и не сводит жалостных глаз с Авдея. Она положила тонкую серую руку на выдающийся живот, а другую, подпирающую подбородок, поставила в ее ладонь. Темная, морщинистая, зубастая, она имеет вид страдальческий. Понева ее коротка, ноги длинны и похожи на палки, ступни, потрескавшиеся от грязи, холода и цыпок,— на куриные лапы. Живот ее выдается, а спина горбится от трудных родов, от тяжелых чугунов. В разрез рубахи, темной от золы, видны тощие, повисшие, как у старой собаки, груди, а меж ними — большой медный крест на засаленном гайтане.

Ее заботы сделали за долгую жизнь страдалицей, Авдея — нелюдимом.

Телега рассохлась, растрепалась. Раскапывая старновку в ее ящике, Авдей прибивает кое-где отставшие планки. Дует предвечерний ветер и задирает сзади его рубаху, обнажает желобок на широкой сухой спине, показывает тугой гашник, низко врезавшийся в тело. Портки Авдея висят по-стариковски — точно пустые. Подошел кобель и стал обнюхивать разбитые, блестящие, только что помазанные дегтем сапоги, в опустившиеся голенища которых заправлены эти портки. Авдей с размаху ударил кобеля по боку молотком.

— Полушубок вынеси да хлебушка завяжи,— сердито сказал от старухе.

Забив последний гвоздь, сдвинув со лба шапку, он решительно пошел в раскрытые ворота унавоженного двора. Половина его была в тени, половина озарена золотистым светом. В теневой половине куры усаживались на насест, на перемет, побелевший от их известкового помета, и заводили глаза. Нахохлившись, сбились голуби под застреху в углу. Они слабо заворковали, когда вошел Авдей... Как радовали его всегда эти хозяйственные куры, голуби, этот теплый двор, его глубокий навоз, плетеные из лозняка и обмазанные коровьяком с глиной закутки! На старой телеге без передков, давно загрязшей в навозе, валялся обрывок. Взяв его, Авдей направился к закутке, где взаперти сидел баран.

— Батюшка, мать спрашивает: огурчика положить? — крикнула девка, заглядывая в ворота.

— А сама не знает? — строго откликнулся Авдей.— Ай первый раз?

За решетчатой дверью закуты шуршала солома. Большой круторогий баран в толстой, вьющейся дымчатой овчине, с удивленным бараньим взглядом, с бараньей щеголеватостью, ходил по соломе, мелко тряся жирным хвостом. Быстро распахнув дверь, Авдей кинулся на барана всем телом, сбил, повалил его и торопливо стал связывать обрывком его тонкие ножки. Баран удивился еще более, но не издал ни звука, только глаза выкатил. Авдей поддел под связанный обрывок руку, натужился и, волоча барана спиной по навозу, потащил его за ворота, к телеге. Баран, выкатив белые глаза, сделавшись похожим на турка, мелко и быстро тряс хвостом и лизал шершавым языком руку Авдея...

Через полчаса Авдей в пути.

Медлительно скрипит, тянется с горки на горку, проходит мимо изб и пунек, то в тени, то на солнце, по-дорожному пахнущая дегтем телега. В задке ее лежит веревочный хрептуг с сеном, в передке, на старновке — связанный, спокойный баран. Авдей, в полушубке и глубоко надвинутой шапке, с кнутом под мышкой, с трубкой в зубах, изредка пуская через плечо сладкий, пахучий донником дым, не спеша, по-дорожному, шагает за колесами.

Вот и крайняя изба, голый и широкий большак: тут поворот влево, на город. С неподвижно простертыми обломками крыльев стоит на нем ветряк, как стоял он и шестьдесят лет тому назад, когда Авдей был еще ребенком. Возле беззаботно перекрикиваются, прыгают на одной ножке, играют в лунки мальчишки... «Подождите, доиграетесь!» — думает Авдей.

Под скатом мелкая речка развливается широким плесом по белому щебню, кое-как перекинут мост на ту сторону. Плес ослепительно блестит; желто-каменистый подъем за ним весь в зеркальных веселых разводах, в медленно переливающихся отражениях. По мосту едут бездельникиохотники: высокая гнедая лошадь, беговые дрожки, на дрожках, один за другим, сидят верхом два человека, и торчат из-за спин два ружейных ствола. Авдей тянет веревочную вожжу, останавливает свою кобылку и ждет, пока переберутся по узкому и зыбкому мосту встречные. Авдей глядит, но видит все как во сне. Он от горя ко всему равнодушен — как больной.

Наконец перебрался и он через мост. Поднялся на гору, спустился в котловину и опять стал подниматься... Жесткая, выгоревшая за лето мурава ржаво краснеет по каменистым перевалам старой мертвой дороги. Этим перевалам конца нет. До города верст двадцать пять, но он всегда, всю жизнь казался Авдею очень далеким. С перевала на перевал поднимается, идет он, задумчиво глядя вперед. Солнце сзади него, краснеет, садится. Сиянием окружена лежащая по мураве тень Авдея, длинная тень телеги, лошади. Пусто кругом, далеко видно. Воронье беспрютно, по-осеннему ночует на опушке желтых жнивий. На горизонте ряд телеграфных столбов, уходящих в бесконечное поле. Алыми клубами бежит назад дым бегущего товарного поезда — длинной цепи красных вагонов. Авдей до сих пор глядит на поезда неприязненно. Раз в жизни ехал и он по железной дороге. И закаялся: все время кружится голова, все время страшно...

Дойдя до железной дороги, пересекающей большак, он ждет возле переезда, закрытого шлагбаумом. Неприятно рано, по-осеннему, зажгли огонь в будке.

Дальше — шоссе, самая скучная дорога на свете...

Авдею шестьдесят семь лет: скоро умирать. Особой нужды он никогда не знал, от бед, несчастий бог его миловал.

— Расскажи что-нибудь интересное, что было в твоей жизни,— сказал ему однажды молодой барин.

— У меня, слава богу, ничего такого не было,— ответил Авдей.— Вот седьмой десяток живу, а, благодарю бога, интересного ничего не было.

Но заботы всю жизнь поедом ели его. Жаден, говорили про него соседи победней. «Да ведь тебе, побирушке, хорошо говорить!» — всегда со злобой думал в ответ на это Авдей.

Солнце закатилось, дует холодный ветер. Авдей прикрывает барана соломой, надвигает шапку поглубже, запускает руки в рукава и мерно шагает по краю шоссе за скрипящей телегой.

Широкий старческий нос его сизеет, стынет, ветер косит седую бороду. Большие серые брови сурово сдвинуты, в потухших глазах — тоска.

Капри. 24 января. 1913

ХУДАЯ ТРАВА

Худая трава из поля вон!

Пословица

I

Аверкий слег, разговевшись на Петров день.

Молодые работники умылись с мылом, причесались, надели сапоги, новые ситцевые рубахи. Аверкий, чувствуя слабость, равнодушие, не сходил перед праздником ко двору, не сменил рубаху; что до остального наряда, то был он у него один — и в будни и в праздник. Молодые работники ели не в меру много и весь обед хохотали, говорили такое, что стряпуха с притворным негодованием отворачивалась, а порою даже отходила от стола, бросив мокрую ложку. Аверкий ел молча.

Он был уже в той поре, когда хорошие, смирные мужики, много поработавшие,— а он таки поработал, в одних батраках жил тридцатый год! — начинают плохо слушать, мало говорить и со всем, что им ни скажешь, соглашаться, думать же что-то иное, свое. Он был в тех мужицких годах, которых не определишь сразу. Он был высок и нескладен: очень худ, длиннорук, в кости вообще широк, но в плечах, на вид не сильных, опущенных, узок. И с этой полевой нескладностью, с лаптями и полушубком, никогда не сходившим с плеч, странно сочеталось благообразие: небольшая лысеющая со лба, в длинных, легких волосах голова, изможденное лицо с тонким, сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая седеющая борода, не скрывающая сухой челюсти.

Все, над чем смеялись за обедом, казалось ему ненужным, несмешным. Но неприязни на его лице не было. Ел он неспешно, кладя ложку, с детства привыкнув совершать трапезу, как молитву, ибо эта трапеза всю жизнь была для него венцом трудового дня, среди вечных опасений за будущий день, хотя всю жизнь и говорил он привычное:

— Бог даст день, бог даст пищу...

Мысли его туманились. Костлявые выступы скул, обтянутые тонкой серой кожей, розовели. Душа не принимала пищи. Но он ел пристально: и потому, что уж так полагается в праздник, и потому, что еда могла, как думал он, помочь ему, и потому, что жалко было не есть: вот он заболел, с места, должно, сойдет, дома же не только сладких харчей, а, может, и хлеба не будет.

Подали на деревянном круге круто посоленную жирную баранину. Аверкий вспомнил, как служил он когда-то зиму в городе. Подумав, он осторожно взял кусок своими тонкими пальцами и бледно усмехнулся.

— Люблю горчицу, а где я ее могу взять? — сказал он застенчиво, не глядя ни на кого.

От бараииы стало иехорошо; ио ои досидел-таки до коица стола. Когда же работиики, дохлебаа до последией капли огромиую чашку голубого молока н самодовольио иквя, стали подииматься и закуривать, смешивая запах махорки с звпахом еды и саежих ситиников, Ааерклй осторожио иадел свою большую шапку,— в пеиькоаом дие ее всегда была иголка, обмотаииая ииткой,— и аышел иа порог сеиец, постоял среди голодиых собвк, жадио смотревших ему в глаза, точио зиавших, что его тошиит. Погода портнлась. Стало сумрачио, похоже иа будиичное предвечериее время; мелкий дождь стрекотал по газете, валявшейся у крыльца барского дома; индюшки, опустив мокрые хаосты, усаживались иа развалиашейся ограде, а цыплята, которых сердито клевали оин, лезли, прятались под их крылья... Сладкне харчи! Аверкий зиал им цену. Последияя предсмертиая тягота иаступала для него, а все же крепко ие хотелось ему терять их, когда брел ои за избу.

II

Воротился ои бледный, с дрожащими иогами, и попросился у стряпухи иа печку.

Оиа равиодушио спросила:

— Ай захворал?

— Служил тридцать лет,— в тон ей отаетил Аверкий, влезая иа иары, ставя лапоть а печурку и подиимаясь в тесиое, жаркое простраиство между печью и потолком,— служил тридцать лет с чистым лицом, а теперь шабаш, ослаб... Блоху ие подкую,— пошутил ои.— Изиосился, задыхаться стал,— еще тверже и даже с удоаольствием сказал ои, ложась.

И как только лег, получше пристроив голову в шапке иа какую-то сломаииую плетушку, тотчас стал задремывать и слышать свое глубокое, одиообразио прерывающееся дыхаиие, ощущать его жар в губах. Ои уже таердо решил, что захворал без отлеку, что ои — «оброчиый кочет». Ои давио иеремогался. Больиые собаки уходят со двора, ищут по межам, по лесиым опушкам какую-то тоикую, лишь им ведомую траву и едят ее — тайком ищут себе помощи. Отдаляясь от двории, Аазркий тоже искал — тайком покупал то водки, то соды... Теперь перемогаться уже ие стало сил. Но все-таки иадо было подумать: квк быть с местом, сходить или иет? Если скоро умрешь, думать тут, коиечно, нечего. Ну, а если не скоро?

Работиики курили и хохотали. Слушая и думая, ои стал видеть сиы. Но из печальиых н скучиых воспомииаиий складывались оии. Вот ои будто аышел из избы — надо ехать за хоботьем иа гумио... А ао двор входит и остаиавливается, увидя поднимающихся собак, страиник: голова закутана женской шалью, иа левой руке лукошко, в правой высокая палка, иа худых иогах растоптаииые лапти... «Если бог подымет, пойду в Киеа, а Задоиск, в Оптиину,— подумал Аверкий в дремоте.— Вот дело иастоящее, чистое, легкое, а то не зиамо, звчем и жил иа саете...»

Но тут громко и дружио захохотали работиики, надымившие всю избу. Аверкий очнулся. Стукиула дверь, кто-то вошел.

— Опять залнл глаза! — сказала стряпуха, вытнрая стол и не глядя иа аошедшего.— Опять приперся... Дед, да ай у тебя стыда-то соасем нету? — спросила оиа, оборачиваясь.— Ну, чего пришел? Не иадоел еще?

Но дед,— караульщик сиятого мещаииюм сада, «старик-плясун», как иазыаал ои сам себя для потехи, всегда хмельиой, обтрепаиный, асегда мучивший Аверкия своей иеряшливостью, своей болтливостью, асей своей свободной, иемужицкой жизиью,— дед не обратил иа стряпуху внимания.

— Ребята, рассудите: мыслеиио ли? — поиес ои с иепритвориым отчаяиием, разводя руками перед работииками.— Один как есть иа этакий сад! Дв я с него шести целковых ие возьму! Приедет ныиче, так и скажу: хомут да дуга, я тебе больше ие слуга! Будя! Вон ребятишки уже зачали в зввязь винкать, две яблоньки отрясли, а я что? Дули, говорит, береги глааией всего... А что я одии иеделаю? Вишеиья опять обораали иа валу — иу, и черт с ними! Я больной человек!

— Больиой, а асе хоть выжми! — сказалв стряпуха.

— Полегче! — ответил старик, садясь иа иары.— Ты-то помолчи. У меня вон моя старуха тебе в матерн годится, а я ее, может, полгода ие видал... да почесть и весь век ие видал, ие зиаю, зачем и жеиился...

«Не хуже меия, такого-то»,— подумал Аверкий, закрыв глаза н уже не чувствуя к старику прежиего отвращения.

— А оиа иебось мне не чужая,— продолжал тот с искреиией горечью.— Я н ребятам вот говорю: что я могу? Сейчас отшел, а а салаше чуйка хозяйская, а она семь целковых! Да что ж иеделаешь? И уиесут за милую душу! А господам я вишенья дозволяю рвать: можете! Господа, оии и съедят-то два зериышкв, это ведь иаш брат мужик... Правду я говорю ай иет? — крикиул ои, сиоаа оживляясь.— И тебе, староста, завсегда дозволяю, ты тут, может, первый челоаек иадо всеми! Только ты меия чем обидел: тесу иа кровать не дал! Спасибо хоть барчук помогает: проплясал ему дааеча малеиько — аи иа косушку и есть...

Аверкий стал опять забыааться... Под вечер, в поле, шел ои за возом. Моросило. Широко отаорены были ворота на скотном дворе богатого степного мужика; бродил по двору и гоготал гусак, потерявший гусыию... «Богвтому везде хорошо!» — с обидой и болью в голосе кричал где-то аиизу старик. Аверкий кивал шапкой, соглашался, а сам думал свое: «Богатый, как бык рогатый,— в тесиые аорота ие пролезет...» И очиулся, чувствуя, что бредит. «Да, бог не любит высоких мыслей... Да, старика жалко... Но дым и иеиужиый говор, чужие люди, чужая печка — ах, какая тоскв, бесприютиость! Зверь, и тот забивается умирать в саою собствеиную иорь... Нет, конец, домой пора!»

III

Ои очнулся а сумерки. Ни работников, ни стряпухи а избе ие было. На лавке возле окиа сидела дурочка Аиюта, скитавшаяся по господам, по мужикам. Оиа была толстая, стрижеиая. Она гляделв а окно,— голоаа ее сзади была похожа иа кувшин вниз горлом,— и плакала: стряпухии мальчишка ие дал ей лечь усиуть — все по лавке скакал.

— А там индюшки замучили,— гоаорилв оиа, плача, думая, что Аверкий спит, и жалуясь самой себе.— Легла отдохиуть в палнсадииуку — дождь, индюшки всю голоау изодрали, а тут этот демоиеиок... Твк-то, Аина Матвеаиа! Так-то, матушка! Чужой кусок ие сладок! А богатая была, умией барыии слыла!

Это она аспомииала то золотое время, когда было у иее целых тридцать шесть рублей. Оиа копила и храиила их долго как зеницу ока. Да выпросил, вымолил а долг мужик, у которого оиа стояла на квартире, поклялся иа церковь, что отдаст,— и, конечио, ие отдал, даже прямо сквзал: так и зивй, не отдам и не шатайся...

Аверкий открыл глаза. Было лучше, чем дваеча, уже ие мутилвсь голоаа. Он послушал дурочку и усмехнулся. Ах, господи, из-за чего только волиуются, страдают люди! Этот старик, так растеряино жалоаавшийся работиикам... Эта плвчущая от обиды на ребеика Аиюта...

— А ты бы его за аиски,— сказал ои, усмехаясь.

— Ай ты проснулся? — спросила дурочка. И вдруг иеприятио, иеумереино зарыдала.— Да ай я слвжу с иим?

Когда оиа стала затихать, Аверкий иегромко и ласково окликиул ее.

— Что тебе? — тупо отозаалась она.

— Сходи, матушка, к моей старухе,— сказал Аверкий.— Скажи, чтоб пришла за миой. Боюсь, ей и самой есть иечего, да ведь что ж иеделаешь? Как-нибудь пере-

бьемся. Я, видно, свое отслужил. Все дома-то лучше, пристойнее...

— Не с чужими же людьми смеиить! — с горечью ответила дурочка. — Схожу, не бойся... А ты не обидишься на меня, что я тебе скажу?

— Нет...

— А может, испугаешься дюже?

— А что? — спросил он.

— Да так... Я тебе же добра желала. Пришла давеча,— говорят, ты захворал. Я и зашла к Пантюше погадать насчет тебя...

— Ну и что же?

— Тебе, батюшка, плохо вышло... Он набрал земли на сковородку, лег под святые и запел... А сам все берет землю со сковородки да на лицо себе посыпает... Берет и посыпает...

— А ты фамилию-то мою сказала? — спросил Аверкий.

— То-то и беда, что сказала...

Аверкий помолчал.

— А ты все-таки к старухе-то сходи,— сказал он.

— Об этом ты не убивайся. Схожу.

Вынув из своего нищенского мешка крендель, дурочка стала есть, собирая с колен крошки.

— Хочешь кренделька? — спросила она.

— Нет, матушка, спасибо, что-й-то не хочется,— сказал Аверкий.

Вздохнув, он повернулся на бок. Дурочка открыла окно,— стала доходить свежесть вечера. Тонкий, как волосок, серп месяца блестел над черной покатой равниной за рекой, в прозрачном небосклоне. Далеко на селе хорошо и протяжно пели девки старинную величальную песню: «При вечере, вечере, при ясной лучине...» Когда и с кем это было? Мягкий сумрак в лугу, над мелкой заводью, теплая, розовеющая от зари, дрожащая мелкой рябью, расходящаяся кругами вода, чья-то водовозка на берегу, слабо видный в сумраке девичий стан, босые ноги — и неумелые руки, с трудом подинимающие полный черпак... Шагом едет мимо малый в ночное, сладко дышит свежестью луга...

— Ай не узнала? — спрашивает он притворно небрежно.

— Дюже ты мне нужен узнавать! — отзывается нежный, грудной, неуверенно звонкий голос — и против воли звучит в нем ласка, радость нечаянной встречи.

— Ай помочь?

— Дюже ты мне нужен помогать...

Пересиливая себя, считая непристойным навязываться с разговором, он молча подинимается в гору, в росистое темное поле, глядит на звезды, слушает перепелов и деловито думает:

— Хороша, да бедна. Ишь сама воду возит...

Это было давно, в самом начале жизни... Неужели это она, та, что придет завтра, поведет его домой умирать? Она, она...

IV

Она пришла за ним на другой день. Она ласково и заботливо убрала своими темными рука его добришко,— армяк, онучи, линючую подпояску,— и повела его, бледного и слабо улыбающегося, домой:

— Пойдем, пойдем, батюшка. Будя, поработал. Весь свой век ждала тебя. А ты вон какой стал — совсем никуда. Износился. Да заветный перстенек и поношенный хорош...

И он все радовался первое время: вот он и дома, отслужился! Он не лег в избе, давно хотелось ему полежать на свободе, на покое, на чистом полевом воздухе. Лег он на своем гумнишке, в старенькой риге, густо заросшей кругом лебедою, лег в телеге без колес — и в открытые ворота день и ночь веял на него сырой ветер с огородов и гумен, несло ветром косой крупный дождь.

Все дела обсудили они со старухой, пожалели дочь, по нужде рано выданную в дальнее село, во двор зажиточный, но больной дурной болезнью, и порешили дать ей знать, чтоб приехала проведать отца.

Дочь, однако, не ехала — верно, не пускала погода.

Погода мучила. С утра светило солнце, парило над дымящимися полями, над грязными дорогами, над хлебами, насыщенными водою, легшими на землю. С утра Аверкий, порою покидавший свою телегу и добредавший до избы, обещал старухе, что опогодится. Но к обедам опять заходили тучи, казавшиеся еще чернее от блеска солнца, меняли облака свои необыкновенные цвета и очертания, подымался холодный ветер, и бежал по полям косой радужный дождь.

— Будут беды великие,— говорила соседка, бывшая дворовая.— Раньше и тучки не те были, все зайчики да кусточки, а теперь облако грубое пошло...

Но Аверкий, сидя в валенках и полушубке возле избы, только слабо улыбался: какое дело было ему теперь до будущих бед!

Соседи, двоившие пар, приезжали к обедам мокрые, усталые, жаловались, что на них армяки попрели, и тоже всё хотели уверить себя, что, авось, бог даст, разгуляется. Но после обедов темнело от туч, гнала буря ливень с градом. К вечеру стихало, солнце проглядывало; но на востоке громоздились розовые горы, а западный небосклон весь покрывался странной серебристой зыбью, похожей на утиный пух.

А ночи были туманные. Зеленоватые пушистые звезды, как большие светляки, глядели на Аверкия в ворота. Спал он мало, по ночам скучал. Но, вспоминая теперешнюю свою свободу от всех забот и горестей, благодарно крестился на небо.

Худел и слабел он не по дням, а по часам. Но, чувствуя, что смерть овладевает им без мук, без издевательства, часто говорил старухе:

— Ничего, ты не бойся, я удобно помру.

А старуха втихомолку надеялась, не давала веры его словам. Больше всего пугало ее его равнодушие. Но и равнодушие долго пыталась она истолковывать его слабостью, пока наконец не перешло оно меры.

В конце июля, когда кое-как стали убираться в полях и дожди перестали, пропала у нее телушка, которую с великими лишениями нажила она себе, которая ходила за ней, как собака. Старуха все поля, все соседние деревни обегала. В тоске, в тревоге, она расспрашивала каждого встречного, не видали ли рыжей телушки, и все не сдавалась, придумывая все новые места, куда надо идти на поиски. Как вдруг, в один сумрачный вечер, собаки притащили на деревню рыжую голову с маленькими рожками. У собак ее отняли и принесли старухе на крыльцо. Она растерялась и заплакала, как ребенок. И все долго стояли вокруг крыльца, не зная, что говорить, что делать. На всех эта страшная, в сухой крови и с рожками голова произвела тяжелое впечатление. И только один Аверкий, который на говор прибрел из риги к избе, легонько рукой махнул.

— Уж чего там! — сказал он.— Смолоду не наживали, а теперь не к чему...

Все взглянули на него с удивлением и еще дружнее загалдели, что этого так оставить нельзя. Пастух сказал, что собаки рыли в лесу. Несмотря на сумерки, решили немедля ехать в лес. Сосед торопливо запряг лошадь в телегу, посадил в нее плачущую старуху, вскочил сам и поскакал, загремел по улице. Поскакали за ним верховые. В полях было темно, в лесу темно и тихо, уже пахло опавшими листьями. Лес слабо освещался с одной стороны красноватым светом всходившей луны. Приехали к караулке на поляне, возле дуба с засохшей верхушкой. Лесник ужинал и, увидя толпу, очень испугался. Потребовали у него фонарь, пошли за пастухом к тому месту, где рыли собаки, нашли зарытую в землю требуху, подняли гам и повезли лесника в деревню, к Аверкию.

Аверкий не спал, сидел в темной избе. Когда вздули огонь и стала изба наполняться народом, когда при-

вели старосту с палевой бородой и наперебой стали кричать, обвиняя лесника. Аверкий неожиданно принял его сторону. Лесник в свое оправдание говорил только одно:

— Красть я не согласен. Мой родитель не крал, и я не согласен. Кабы я крал, у меня бы ничего не было, бог бы не дал, а то у меня свое хозяйство есть.

Но Аверкий, со своим равнодушием к земным делам, вполне вернл ему — н даже возвысил голос, настаивая, чтобы его отпустили, а не сажали в холодную. И удивленные, сбитые с толку соседи в конце концов покорились ему. Покорилась его голосу, его гробовому лнцу и старуха.

На выздоровление его у нее не осталось с этой ночи никакой надежды.

V

Дочь с мужем посулились приехать и приехалн на престольный праздник, ко второму Спасу. Было решено, что зять свезет Аверкня в больницу, покажет доктору. Аверкий согласился — и на день, на два ожил.

На день, на два воротились к нему обычные человеческие чувства. С помощью старухи он с раннего утра умылся, причесался для гостей.

В обеды он лежал и прислушивался: не ндут ли? Послышались шаги и голоса вдалн. В раме ворот показался зять, за ним — дочь с девочкой, сзади старуха. Зять, высокий, с зеленоватымн волосами, с белыми ресницами, был подбрнт и наряжен: новый картуз, новые сапоги, серая жнлетка поверх новой желтой рубахи. Дочь, которую Аверкнй всегда считал красавнцей, н на этот раз удивнла его своею красотой, скромностью, соединенной с достоинством, длинными опущенными ресницами, лиловым сарафаном н смуглостью маленьких рук. Она, женственная, мнлая, вела за руку белобрысую девочку в зеленом платьнце, которая с любопытством осматривала дыры в крыше рнгн и сосала деревянную катушку из-под ниток.

Подойдя, гости поклонились Аверкию, осторожно поцеловались с ннм, поднялн к нему не хотевшую целоваться, воротнвшую в сторону личико, девочку; Аверкий с нежностью заметил, что волосы у нее бело-золотистые, тверды и гладки, как трава после лета. Гости заговорили бодро, беспечно,— зять все старался шутить,— но не сводили с Аверкня глаз и, видимо, не знали, что говорить. Он это чувствовал, неловко улыбался и даже бодрился, а сам думал, сравнивая дочь со старухой: нет, моя душевнее была! И дочь была хороша и скромна, как мать в молодости, но у дочерн было больше спокойствия, сдержанности. Дочь трогала его своею красотою, ресницами, блеском стеклянных капель в гребешке, а старуха — лаптями, дряблостью кожн, усталостью, искренностью. Их протнвоположность взволновала его, и опять почувствовал он на мгновение: сладка жизнь! Старуха не прнтворялась. Она вошла и стала, грустно глядя на него, как бы говоря: вот привела, хотят поглядеть на тебя — не хорош ты стал, батюшка, да что ж сделаешь. А он и правда был страшен. Волосы его еще больше поределн, стали еще тоньше, они лезлн, падали на широкий ворот рубахн, на ключицы, торчавшие под нею, как ўднла. По обеим сторонам ввалнвшихся висков торчали большие прозрачные уши. Глубоко западалн глаза.

Гости обедалн в нзбе. Ему прислали чашку зеленого кваса с салом, ломоть хлеба. Он приподнялся, взял чашку, ннзко склонился над нею, выгнув зубчатую от позвонков спину, перекрестился, зачерпнул дрожащей рукой ложку н проглотил торопливо, боясь, что не хватит сил поесть. И точно, не хватило. Он устал, задохнулся, лег на спину... И чашка так и осталась стоять на земле возле телеги. Квас запеннлся, подернулся сальной пленкой, в него нападало много мух. Аверкнй отгонял их н рассматрнвал свою руку, голубые ногтн. Дивила его ладонь: впалая, она была суха н блестела, будто натертая воском... И, подумав о больнице, он насмешлнво улыбнулся.

VI

Перед вечером прошел недолгий дождь. Со смехом, накрывшнсь подолами, гуртом прнбежали с улнцы девкн, сталн у ворот, не обращая внимания на Аверкия, ждали, пока перейдет дождь, видный в раме ворот на серой тучке. За воротами говорили, смеялись ребята, кто-то все начинал нграть на сломанной, с западающими клапанамн, гармонии. Подошел к воротам зять, слегка хмельной. Он выставил вперед правое колено, поставил на него свою большую, мягко и приятно рычавшую гармонию. Он томно смотрел в одну точку, играя. А против него стояла и, слегка склонив голову, упорно смотрела на него солдатка, бледная женщина, с свежим, приятным ртом и серебристымн глазами в черных ресницах. Они звали друг друга взглядамн, словами бесконечной «страдательной». И все долго, под редким дождем, следилн за их любовными безмолвными переговорами. Потемнело в углах ригн, темнело в воротах. Закрыв глаза, Аверкий слушал. Ему было хорошо.

Улица так и осталась возле риги до поздней ночн, расходясь постепенно. Поздно ночью небо расчистило, две большие звезды глядели в ригу. «Значит, так надо,— думал Аверкий,— значит, ему дочь моя не хороша, нную надо». Гармонья смолкла. Кто-то говорнл за воротамн дрожащим, охрипшим голосом, о чем-то упрашнвая. Женщина отвечала протяжно, уклончиво, но сопротивление ее было слабое. Потом две тени на минуту заслоннлн звезды в раме ворот, прошли мимо, влево, к остаткам соломы...

«Ах, неладно,— подумал Аверкий.— А дочь небось любит его...» В душе зазвучала песня, нежная, любовная: «Я соскучнлась, любезный, без тебя: вся постелюшка простыла без тебя, нзголовьице заиндевело...» Он забылся и очнулся от громкого кашля. Зять, проводивши солдатку, смело воротился в ригу, сел на розвальни и, разуваясь, со стуком побросал сапогн наземь. Он зажег спичку, осветнв петуха, ночевавшего на деревянном козле для резки.

Чтобы показать, что он не обижается, не вмешивается в чужие дела, Аверкий, усмехнувшись, сказал про петуха.

— Ишь, где квартеру себе нашел!

— А ты чего ж не спншь? — спросил зять.

— Я почесть никогда не сплю,— ответил Аверкий.

— Помираешь, значит,— равнодушно сказал зять, ложась.

— Худая трава из поля вон,— пошутнл Аверкий.— А чую — конец. Чую — *она*. Ночью скучаю, пуще всего как полуночная звезда-зарница взойдет. Никакая! — сказал он безнадежно.— Стали уж колокольцы в глотке звенеть...

Зять стал засыпать, сумрачно похрапывая. И грусть, умиленье одиночества нашли на Аверкия. Хотелось еще поговорить, сказать что-нибудь дружелюбное, прнятное зятю. Он оклнкнул его:

— Спишь?

— Нет,— отозвался зять, очнувшись.— А что?

И забормотал строго:

— Будя буровить-то, людям спать не давать... Спи!

Аверкнй смолк. Хотелось сказать: «Ах, хороша любовь на свете жнвет!» Он лежал, думал и затаивал дыхание, стараясь представить себя в могиле... Зять храпел, спал крепкнм сном поздней ночи. Слабое, мутное зарево долго было вндно за воротамн, за темными полями. Показался поздний полумесяц,— как отражение в затуманенном зеркале,— прошел низко и скрылся. Потемнело перед рассветом. Стал на всю ригу кричать петух. Стало в раме ворот серебриться небо, стал заниматься для живых новый день.

Зять проснулся, свежо н крепко зевнул, снова разбудив тонко дремавшего Аверкия. Утро настало веселое. Весело н молодо глядело в ворота голубое, по горнзонту оранжевое небо. Холодная роса сверкала на траве. Зять, надевая сапоги, надувался н стучал нмн в землю.

— Обузил хромой дьявол! — сказал он хрипло и бодро, разумея сапожника.

— Тесный сапог осеннее дело никуда,— ответил Аверкий.— Мука.

— Да это еще по чулку,— сказал зять.— А по портянке и совсем не вобьешь!

Старуха с дочерью нарядили Аверкия. На него надели ситцевую рубаху, давно слинявшую, но чистую, легкую, узкие серые брюки в полосках,— подарок с барского двора,— и кожаные бахилки; надели полушубок, большую шапку и под руки повели к телеге. Девочка гонялась по риге за петухом, все норовила поймать его за хвост. Поджимаясь, петух мелко убегал от нее, и Аверкий усмехался. После риги небо показалось ему бесконечно просторным, светлым и радостным, воздух в полях — упоительным. Дорога уже обвяла. День был августовский — прохладный, блестящий, со стальными облаками. О больнице, о выздоровлении не хотелось и думать: и так было хорошо.

VII

Прошел еще месяц. Жизнь еще больше отодвинулась от Аверкия за этот месяц. Черные катышечки в пахучем желтом порошке, конечно, не помогли,— только палили изжогой. Но он все-таки ел их — целых двадцать дней. Когда же проглотил последнюю и зачем-то спрятал круглый пузырек под подушку, вздохнул так облегченно, точно свалил с плеч последний тяжкий долг. А с людьми он мысленно уже простился: люди понемногу забывали о нем, заходили к нему все реже, а заходя, говорили то трогательное, то смешное, то грустное, но всегда неважное. Все время он чувствовал себя гостем, заезжим в какой-то край, где он жил когда-то и где теперь живут еще беднее и скучнее, чем жили прежде, при нем.

Воротился домой и заходил раза два солдат, побывавший в Порт-Артуре и в Японии,— на войне и в плену. И не рассказал ничего путного ни о войне, ни о плене, говорил то же, что говорили и все, побывавшие на войне и в чужих странах. На войне страшно, а потом ничего, и не думаешь, а в чужих странах все не по-людски: земли много, а ходить негде, везде горы, людей всяких — и не счесть, а поговорить не с кем... Много рассказывал солдат о японках, но и их осуждал: «малы ростом и не завлекательны».

Заходила Анюта. С ней Аверкию было легко, она сидела долго, никуда не спешила, не говорила притворно: «Ну, я пойду, дельце есть...» Она была задушевна, проста, хотя и задевала Аверкия тем, что стала говорить с ним теперь, как с раным, как с дурачком, со своим братом, лишним человеком.

Заходил старик плясун, в полушубке и старой господской соломенной шляпе, приносил яблок, с неумеренной настойчивостью совал их под подушку Аверкию и с неумеренным оживлением болтал, внутренне радуясь своему постоянному хмелю, а жизнь свою то восхваляя, то ни в грош не ставя. Он дышал перегаром, говорил без умолку.

— Хм!— говорил он.— Мне тут, в селе, рай! Тут я маленько оправился, человеком стал. А то сослали меня прошлый год... Именьишко в поле, сад в поле — хоть бы тебе дворишко! Скука — избавь бог! Не то, что у вас в селе: тут в поле выйдешь, и то что-нибудь увидишь обязательно: либо где ребята в конопях, либо бабу примешь к сведению...

Хозяйственным людям было не до Аверкия: они веяли новое зерно и опять рассевали его. Раз эта мирная жизнь была нарушена тревогой, набатом, торопливо сзывавшим испуганное село к месту неожиданной беды, к омету на дальнем гумне, внезапно охваченному среди жаркого полдня весело и торопливо разгоравшимся оранжевым пламенем. У Аверкия, всегда боявшегося пожаров, заколотилось сердце. Он, насколько мог, поспешно приподнялся и долго глядел в ворота, на голубое спокойное небо, по которому беспокойно и высоко неслись черные хлопья, «галки». Он жадно прислушивался к тому шуму и гаму в селе, который люди, бегущие на пожар, всегда зачем-то преднамеренно увеличивают. Он, по старой привычке, заразился было этим учаством, но скоро понял, что пожару он только обрадовался — обрадовался развлечению, тому, что прибегут к нему, потащат его из риги вон; понял и то, что пожар далеко и что ничего этого не будет — и опять почувствовал равнодушие, опять лег.

Раз зашел к нему дьячок в парусиновом подряснике: посидел, сперва пошутил над его болезнью, потом сказал:

— Да... «И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к богу, иже даде его...» Этого, брат, не минуешь!

И Аверкий, которому очень понравились его слова, торопливо ответил:

— Избавь бог! Как можно того миновать!

На мгновенье ему стало жутко от церковных слов дьячка, но, подумав, он еще тверже повторил:

— Нет, избавь, господи,— не миновать-то! Я вон жалюсь иной раз, я, мол, кочет оброчный, как говорится, а разве не правда? И бог оброку требует...

И, запутавшись в своих мыслях, прибавил некстати:

— Нет, как можно... А то бы столько греха развелось! Так-то, святые люди говорят, шла божья матерь от креста и плакала навзрыд... Все цветы от слез пожглись, посохли, один табак остался... За то-то вот и жгут его, курят...

После больницы он часто делал попытки вспомнить всю свою жизнь. Казалось, что необходимо привести в порядок все, что видел и участвовал он на своем веку. И он пытался сделать это, и каждый раз напрасно, воспоминания его были ничтожны, бедны, однообразны. Вспоминались пустяки, безо всякого толку и все в картинах — неясных и отрывочных. Только начнешь вспоминать жизнь по порядку, с начала, с детства, как все сольется в один какой-нибудь день, в один какой-нибудь вечер, часто и не относящийся к детству и такой далекий, такой ненужный, что только рукой махнешь. С тоскою махнул рукой Аверкий и на все свои знания, на все свои способности умственные. «Ведь вот какое чудо!— думал он.— Жил, жил, а ничего не помню, ничего не понимаю...» Говорят, например, что родился он вот там-то и тогда-то. А что это значит — родился? Не оказывалось даже понимания собственного рождения, не оказывалось даже в него ощутительной веры! Всегда и все говорили, что отцом его был вот тот-то, а матерью — вот та-то. Теперь он и этому не верил и этого не понимал. Он всю жизнь считал родителей самыми близкими людьми; но, когда умер отец, он совершенно забыл его, точно так же, как и мать: не только жалеть перестал, а даже лица отцовского не мог ясно представить себе. Так сближался он на своем веку и с многими другими людьми. Но и их забыл — вот как сны, например, разве мало видел он снов, а попробуй-ка вспомни их!

Только далекие сумерки на реке, далекую встречу свою с той молодой, милой, которая равнодушно-жалостно смотрела на него теперь старческими глазами, ощутительно помнил он да ясно видел лицо дочери.

VIII

И еще месяц прошел, и приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк богу.

Осень наступила рано. Замученный холодами, старой одеждой, пролежнями и сухими ранами на локтях, Аверкий только головой качал, разумея смерть:

— Ну и норовиста! Не докличешься!

Мир он по-прежнему видел только в ворота — видел только частицу огромной картины. Шли по горизонту за обиженными лозинками, все белевшие, все холодевшие

облака. Умирая, высохли и погнили травы. Пусто и голо стало гумно. Стала видна сквозь лозинки мельница в бесприютном поле. Дождь порой сменялся снегом, ветер гудел в дырах риги зло и холодно. Аверкий тупо думал.

— Едет осень на пегой кобыле...

А в черные, ледяные и мокрые ночи, когда только рама ворот мутным и неподвижным призраком стояла перед ним, свинцово глядела на него, ему было жутко. Перейти же в избу он не решался: знал, что задохнется в первую же ночь — и умрет мучительно.

Раз приснился ему такой сон. Очень холодно, низкие тучи вдали над зеленями, над желто-красной грядой леса за ними. Возле грязной дороги едет он сам — древний, длинноволосый, длинноногий, в длинном полушубке на иссохшем длинном теле — и поталкивает лаптем пегую кобыленку, глубоко вязнущую в сырой земле, комами выворачивающую зеленя. Нагнал его барский староста верхом, в седле, молча, злобно дал ему в душу. Он, Аверкий, молча, легко съехал со спины кобылы вместе с армяком, на котором сидел, повалился на колени, снял тяжелую шапку с лысой головы, стал плакать, просить прощения, говорить, что он глух, стар, слаб, едет к дочери... Оскалив зубы, староста стал драть его кнутом по чем попало,— и от боли и от ужаса Аверкий проснулся весь в слезах. И до рассвета лежал, глядел на свинцовый призрак ворот, чувствовал, что замирает, бьется последним торопливым боем его истомленное сердце, и не понимал,— сон ли это был или сама земная жизнь его, слившаяся в ту тоску, в то горе, с которым он во сне повалился перед старостой на колени. И, вытирая мокрое от слез лицо, засмеялся и твердо сказал себе:

— Нет! Пойду в избу! Задохнусь — туда и дорога.

А наутро и поневоле пришлось переходить. Внезапно пришла зима. И жизнь в Аверкии вспыхнула еще раз.

Ах, в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, первая метель! Забелели поля, потонули в ней — забивайся на полгода в избу! В белых снежных полях, в метели — глушь, дичь, а в избе — уют, покой. Чисто выметут ухабистые земляные полы, выскребут, вымоют стол, тепло вытопят печь свежей соломой — хорошо!

И дочь приехала. «Точно почуяло ее сердце»,— подумал Аверкий, хотя и знал, что приехала она к подруге на сговор. Белой курой несло над деревней, убеляя ее, гнилую и темную. Белы были косогоры и берега реки — только сама река, еще не застывшая, чернела, и по ней еще плавали белые гуси. А в сенцах избы стояла дочь, веселая и красивая. Теперь ей совсем не жалко было отца,— ведь все равно ему не встать. Осенью умерла ее девочка — это снова сделало ее молодой и свободной. Старуха готовила на нарах постель Аверкию. И дочь ждала ее, чтобы идти за отцом, на розвальнях перетаскивать его в избу.

Приехав, она скинула шубку, скинула шаль с головы на плечи и стояла на пороге в сенцах. В раскрытую дверь несло серебристой пылью. Она стояла в голубом шерстяном платье, от которого хорошо, душисто пахло. На волосах ее блестели остинки снега. Соседский теленок лез в сенцы. Она несколько раз выгнала его, потом выскочила на порог. Ей казалось, что она опять живет дома, у батюшки с матушкой, девкой. Ее радовало, что она знает, чей это теленок и кому нужно крикнуть о нем.

— Мишка, родимец тебя расшиби!— крикнула она, выскакивая на порог и радуясь, что может, как своя, тутошняя, не обидно ругаться.— Я за твоим быком гоняться не стану!

В сенцы, грызя подсолнухи, вошла подруга, та, на чей сговор она приехала, девка серьезная, с широкими черными бровями, тоже наряженная, в новом большом платке стального цвета с серебристыми листьями.

— Пойдем батюшку перевозить,— торопливо сказала ей дочь Аверкия.— Совсем помирает, за попом велел итить...

Аверкий, возбужденный и бессонной ночью, и первой метелью, и переходом в избу,— близкой смертью,— лежал в розвальнях и слушал, как холодно, по-зимнему шумит ветер, несущий белые хлопья, как шуршит сухой решетник, сквозь который дует он. Аверкий дрожал, ежился в своем истертом полушубке, накрытый для тепла пегими попонами, и все надвигал на лоснящийся лоб свою глубокую шапку. Лицо у него было ждущее, но глаза, большие, потемневшие, ничего не выражали. Он сам, своими силами, шатаясь и пьянея от слабости, перебрался из телеги на розвальни и с детским довольством думал: придут, чтобы перекладывать его,— ан у него уж все готово, только за оглобли берись... Вдруг раздался звонкий голос дочери:

— Батюшка! Жив?

Дочь, увидя его, внезапно заплакала: так велик и древен показался ей этот живой покойник, с остатками жидких волос, отросших до плеч, в шапке, ставшей от ветхости каким-то высоким шлыком, вроде скуфьи, и в длинном армяке цвета сухого ржаного хлеба поверх полушубка. Он поздоровался с ней чуть слышно. И, опустив глаза, она почти без помощи подруги потащила розвальни к избе. И по белоснежному покрову потянулись от риги до избы две черных полосы — траурный след полозьев, все лето стоявших на влажной земле.

IX

На дворе сизели сумерки, но еще светло было, бело от снега. А изба уже наполнилась сумерками.

В сумерки, весь в снегу, нагибаясь на пороге низкой двери, вошел в избу священник.

— Где он тут у вас?— бодро крикнул он, и голос его раздался, как голос самой смерти.

В тихом страхе встала с лавки старуха. (Дочь, не думая, что конец отца так близок, ушла на сговор.) Упираясь дрожащими руками, приподнялся и сам Аверкий и замер в ожидании, как вставший из гроба. В темноте мертвенно-бледно синело его ужасное лицо. Взглянув на него, священник понизил голос и быстро, с испугом, таким тоном, точно вошел в избу еще кто-то, тот, для кого все это и делалось,— сам бог как будто,— сказал:

— Шапку-то, шапку-то сними!

Аверкий стащил ее, положил на колени...

Потом затеплилась желтым огоньком восковая свеча. Исповедовавшись, причастившись, Аверкий чуть слышно спросил:

— Батюшка! Ну, как по-вашему,— вы это дело хорошо знаете,— есть уж *она* во мне?

И священник ответил ему громко и поспешно, почти грубо:

— Есть, есть. Пора, собирайся!

Не глядя на старуху, он поймал ее руку, в которой уж давно отпотел приготовленный двугривенный, и поспешно шагнул за порог. Старуха, перекрестившись, подошла к нарам и стала, подпирая рукой подбородок, наглядываясь в последний раз на того, кого она так мало видела при жизни... «Пора, пора!»— крикнул на него священник. И он покорно лег на спину, зажав свечу в костлявых пальцах. Сердце его млело, таяло — он плыл в тумане, в предсмертной зыби. Желтый дрожащий свет скользил по его пепельным губам, сквозившим в редких усах, по блестящему острому носу, по большим лиловым яблокам закрытых глаз. Чувствуя чью-то близость, он сделал над собой усилие — хотел что-то сказать и приоткрыл глаза. Но только дрогнуло его лицо. Может, его пугал и беспокоил этот свет, эта черная дрожащая тьма, напоминающая церковь? И старуха, думая, что до конца еще далеко, тихо вынула свечу из рук Аверкия и, дунув на нее, села возле него.

И в тишине, в темноте Аверкию стало легче. Представился ему летний день, летний ветер в зеленых полях, косогор за селом и на нем — его могила... Кто

это так звонко и так жутко кричит, причитает над нею?

— Родимый ты мой батюшка, что ж ты себе сдумал, что ты над нами сделал? Кто ж будет нами печалиться, кто будет заботиться? Родимый ты мой батюшка, я шла мимо вашего двора: никто меня не встретил, никто не приветил! Я, бывало, батюшка, иду мимо вас — ты меня встречаешь, ты меня привечаешь! Уж ты грянь, громушек, просветися, молонья, расступися, мать сыра-земля! Уж вы дуньте, ветры буйные,— вы раздуйте золотую гробовую парчу, распахните мово батюшку!

«Ах, это дочь!»— подумал Аверкий с радостью, с нежностью, с затрепетавшей в груди сладкой надеждой на что-то...

Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег, так неслышно, что старуха и не заметила.

Капри. 22 февраля 1913

ЛИРНИК РОДИОН

Сказывал и пел этот «Стих о сироте» молодой лирник Родион, рябой слепец, без поводыря странствовавший куда бог на душу положит: от Гадяча на Сулу, от Лубен на Умань, от Хортицы к гирлам, к лиманам. Сказывал и пел на пароходике «Олег» в Херсонских плавнях, в низовьях Днепра, в теплый и темный весенний вечер.

Из конца в конец Днепровья странствовал и я в ту весну. В полтавщине она была прохладная, с звонкими ветрами «суховіями», с изумрудом озимей, с голыми метлами хуторских тополей, далеко видных среди равнин, где, как в море, были малы и терялись люди, пахавшие на волах под яровое. А на юге тополя уже оделись, зеленели и церковно благоухали. Розовым цветом цвели сады, празднично белели большие старинные села, и еще праздновали, наряжались молодые казачки: еще недавно смолк пасхальный звон, под ветряками и плетнями еще валялась скорлупа крашеных яиц. В гирлах же было совсем лето, много стрекоз вилось над очеретом, много скиглило рыбалок, отражавшихся в серебристых разливах рекн.

На юг, в Никополь и дальше плыл я на этом «Олеге», очень грязном и ветхом; весь дрожа, все время дымя и поспешно шумя колесами, медленно тянулся он среди необозримых камышовых зарослей и полноводных затонов. В первом классе «Олега» никого не было, кроме какой-то девицы, знакомой капитана, державшейся особняком. Во втором было несколько евреев, с утра до ночи игравших в карты, да какой-то давно не бритый, нищий актер. А на нижней палубе набилось душ полтораста хохлушек, плывших куда-то на весенние заработки. Днем у них было шумно, тесно, жарко; днем они ели, пили, ссорились, спали. Вечерами долго сумерничали, разговоры вели мирные, задумчивые, вполголоса пели.

Этот вечер был особенно прекрасен, особенно располагал к тому.

По палубе бродила, останавливалась и притворялась залюбовавшейся облаками на закате знакомая капитана. Она накинула на голову зеленый газ, тонкий, как паутина, обвила его концы вокруг шеи, и сумеречный ветерок чуть играл ими. Она была в прозрачной кофточке, высока и так хрупка станом, что, казалось, вот-вот он переломится. Одной рукой она придерживала газ, другой — юбку, обтягивая ею ноги. А за нею все время следил актер.

Актер боком прислонился к спинке скамьи и закинул ногу на ногу, как бы показывая, что он ничуть не стесняется своими ужасными ботинками. Он поднял воротник клетчатого пальто с широким хлястиком на пояснице, надвинул на лоб широкополую шляпу и, шевеля тросточкой, поводил глазами.

Девица гуляла, останавливалась, будто и не замечала его. Но взгляды из-под широкополой шляпы делались все пристальнее. Внезапно, вздрогнув, как бы от вечерней свежести, она вскинула брови, подхватила юбку и будто беззаботно побежала по трапу вниз. И, прикрыв глаза, актер притворился дремлющим. За мягкой чернотой правобережья, его ветряков и косогоров, слившихся с затонами, с густыми камышами, медленно блекли в чем-то сумрачно-алом слабые очертания мутно-синих облаков. В вышине проступали мелкие, бледные звезды. «Олег», дымя, дрожал и однообразно шумел колесами... И вот, вполслуха, стройным хором, запели хохлушки, выспавшиеся за день.

Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближення с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей; пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рожденье, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярмарки на ярмарку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников, вся жизнь которых была мечтой и песней, душе которых были еще близки и дни Богдана, и дни Сечи, и даже те дни, за которыми уже проступает сказочная, древнеславянская синь Карпатских высот. Родион, случайно пристрявший к женщинам и плывший вместе с ними, был молод и безвестен. Он говорил, что даже не считает себя певцом, лирником. Но певец он был поистине удивительный. Если он еще жив, бог, верно, дал ему старость счастливую и отрадную за ту радость, что давал он людям.

Слепые — народ сложный, тяжелый. Родион не похож был на слепца. Простой, открытый, легкий, он совмещал в себе все: строгость и нежность, горячую веру и отсутствие показной набожности, серьезность и беззаботность. Он пел и «псалмы», и «думы», и любовное, и «про Хому», и про Почаевскую божью матерь,— и легкость, с которой он менялся, была очаровательна: он принадлежал к тем редким людям, все существо коих — вкус, чуткость, мера. Голова у него была небольшая, темные волосы, ровно подрубленные в кружок, закрывали челкой лоб. Сухое, рябое лицо с закрытыми и глубоко запавшими маленькими веками без ресниц обычно ничего не выражало. Но лишь только он открывал рот, чтобы петь и играть, оно преображалось: одними движениями бровей и улыбками, озарявшими его лицо на множество ладов, он выражал тончайшие и разнообразнейшие чувства и мысли. Ростом он был невелик, плечи имел узкие, покатые и худощавые, пальцы тонкие и цепкие. Носил короткую сермяжную свитку, огромные сапоги. И чудесно, по-славянски краснела ленточка, которой завязывал он ворот своей сорочки из сурового холста.

В этот сумеречный и теплый вечер женщины начали со старинной казацкой песни о сыне и матери, ласково и безнадежно уговаривавшей его не губить своей молодости ради одной пьяной удали. Кончив ее протяжные, спокойные и грустные укоры,— «ой, ти, сыну, мій сын, ты, дытына моя!»— долго не запевали другой; запели было в три голоса какую-то визгливую, мещанскую и тотчас бросили. Родион вполголоса заныл первую строку песни еще более старинной, чем о матери и сыне,— «край Дунаю трава шумить» — и вдруг окликнул кого-то какой-то прибауткой, и вокруг него радостно прыснули, покатились со смеху.

И долго только шутки, тихий говор слышались в дремоте теплой вечерней тьмы, среди ровного, уже ночного

шума колес. Кое-где по смутно чернеющим берегам шли поздние огоньки. Впереди, на чуть видном затоне, между двух черных стен камыша, ночной рыбак лучил рыбу: спокойное отражение его огня в воде было похоже на зажженную длинную восковую свечу. Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском,— многие впервые побывали на этом пути в Киеве — и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил — и сквозь восточную степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что́ именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу,— о сироте и о мачехе,— мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами.

— Ой, зашуміли луги ще й быстрії рікі,— вздохнул и строго сказал он, возвысив голос и заглушив лиру.

И пояснил, снова уступая место ее звенящему жужжанию:

— Померла матинка, зосталися діти...

Потом он просто и серьезно стал напоминать женскому сердцу,— сердцу и беспощадному и жалостливому, какова она, эта сиротская доля. Отец, сказал он, тот утешится.

— Отец жону знайде, буде в парі жити...

А сиротам никто не заменит родной матери:

— Нещасні сірітки — ті підуть служити...

Но не спасет их, сказал он, никакая служба, никакая самая старательная работа:

— Що сірота робить — робота ні за що, а люді говорять: сірота ледащо!

Одним тоном слов и лиры он дал трогательный образ всем чужого, всем покорного ребенка, стриженой, босой, в грязной сорочке и старенькой плахте девочки. Она долго опускала заплаканные глазки, долго надеялась терпением и непосильным трудом снискать милость мачехи — но напрасно: даже родной отец, раб этой безжалостной, хозяйственной женщины, избегал глядеть на свою сироту, боялся хотя бы словом вступиться за нее. А уж если родному отцу в тягость собственное дитя, то где же правда, где справедливость, где сострадание? Их надо искать по свету, по миру, паче же всего где-то там, куда скрылась мать, единственный нескудеющий источник нежности.— И, опять со вздоха возвышая свой грудной голос, опять усиливая звенящий тон лиры, Родион продолжал:

— Ой, пішла сірітка темними лугами,— вмиваеться сірітка дрібнимі сльозами. Не могла сірітка мачусі вгодити,— ой, пішла сірітка по світу блудіти: по світу блукати, матінки шукати...

Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим господом.

— Тай зустрів її Христос, став її питати: «Куда йдешь, сірітка?»— «Матери шукати».— «Ой, не йди, сірітка, бо далеко зайдешь, вже ж своєї матінки й по вік не знайдешь: бо твоя матинка на высокій горі, тіло спочиває у смутному гробі...»

С великой нежностью, но все так же просто передал он горькую «розмову» сироты с матерью,— точнее говоря, с «янголем» (ангелом), отзывавшимся из могилы за усопшую:

— Ой, пішла сірітка на той гроб ридати: чи не обізветься в гробу рідна мати? Обізвався Янголь, як рідная мати, та й став ії стихо, словесно питати:

— Хто це гірко плаче
На мойому гробі?
— Ох, це я, матинко:
Прийми меня к собі!
— Насипано землі,
Що вже ж я не встану,
Сліпилися очі,
Вже й на світ не гляну!
Ох, як тяжко, важко
Камінія глодати:
А ще тяжче, важче
Тебе к собі взяти!
Нема тут, сірітка,
Ні істи, ні пити,
Тільки велів господь
В сирій землі гнити!
Пішла б ти, сірітка,
Мачусі б просила:
Може б змілувалась —
Сорочку пошила...

И с непередаваемой трогательностью ответил ребенок ангелу-матери:

— Я ж її просила, я ж її годила. А злая мачуха сорочки не шила!

Как все истинные художники, Родион сердцем знал, когда надо сказать, когда помолчать. Сказав последние слова, он смолк, опустил незрячие очи, наслаждаясь горькими и счастливыми вздохами своих слушательниц. А насладившись, вдруг грозно и радостно возвысил голос и развернул уже иные картины — картины Христова суда, его возмездия:

— Посилає Христос-бог Янголів от себе,— сказал он торжественно, чистым и звонким голосом.— Візьміть ту сірітку до ясного небе, посадіть сірітку у світлому раю, у господа бога, у честі і славі!

И со скрежетом и звоном лиры далеко разлил свой зазвеневший от радостного гнева плач:

Посилає бог з пекла
По злую мачуху,
По злую мачуху
І по єі духу:
Підиміть мачуху
У гору високо,
Закіньте мачуху
У пекло глибоко!

Кончив, он опять помолчал и твердо сказал обычным голосом, без лиры:

— Слухайте ж, люде: хто сіроти має, нехай доглядаэ, на путь наставляє.

И сказав, уже не нарушил молчания ни единым добавлением. Только долго покрывал сказанное однообразным нытьем, ропотом лиры, как бы смягчая силу впечатления.

Актер спал, прислонясь к скамейке. Всходила большая теплая луна, видно было его лицо, грустное во сне. Тускло золотились под луной дальние чащи черных камышей. Широкий золотой столб погружался в зеркальную глубину между ними, и жабы, чувствуя лунный свет, начали сладострастно, изнемогая, стонать в них, похохатывать. Следуя изгибам затонов, «Олег» все поворачивал; и тянуло то теплом, то сыростью, гнилью — весною, плавнями. Только крупные лучистые звезды остались в небе, и дым из трубы поднимался прямее, выше...

А записывал я стих про сироту в Никополе, в жаркий полдень, среди многолюдного базара, среди телег и волов, запаха их помета и сена, сидя вместе с Родионом прямо на земле. Диктовал Родион ласково и снисходительно, повторяя одно и то же по несколько раз, и порою останавливался, сдерживая легкую досаду, когда я ошибался. А чем я был виноват? Некоторые стихи он говорил то так, то сяк, кое-что улучшая по своему вкусу.

Когда мы кончили, он долго что-то додумывал, и солнце пекло его непокрытую голову, его незрячее, ничего не выражающее лицо. Потом с тонкой улыбкой намекнул насчет корчмы. Я положил в его ладонь несколько пятаков. Он быстро зажал их своими цепкими пальцами, быстро приподнялся, сунув лиру под мышку, и, поймав мою руку, радостно и осторожно поцеловал ее.

Капри. 1913

ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО

Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради развлечения.

Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук,— китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, к которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо: не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером.

Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко,— любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стукаются белыми комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать в Рим, чтобы слушать там «Miserere»;[1] входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония,— разумеется, уже на обратном пути... И все пошло сперва прекрасно.

Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами,— с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой,— и жизнь на нем протекала весьма размеренно: вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шеффльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа посвящались отдыху; все палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из Сан-Франциско спешил в свою богатую каюту — одеваться.

По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле губ и между лопаток, чуть припудренных... Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины,— в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско,— задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы,— точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады,— в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена, мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, девятому кругу была подобна подводная утроба парохода,— та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в сладостно-бесстыдной печали молила все об одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и

[1] «Смилуйся» (*лат.*) — католическая молитва.

все выходнло у них твк тонко, очаровательно, что только однн комвндир знал, что эта пара нанятв Ллойдом играть в любовь за хорошне деньгн и уже давно плаввет то на одном, то нв другом корабле.

В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлвнтнды» появнлся новый пассажнр, возбуднвший к себе общий ннтерес,— наследный принц одного азнатского государства, путешествующнй инкогннто, человек маленькнй, весь деревянный, шнроколнцый, узкоглвзый, в золотых очках, слегкв непрнятный — тем, что крупные усы сквозилн у него квк у мертвого, в общем же, мнлый, простой и скромный. В Среднземном море шла крупная и цветнстая, как хвост павлнна, волна, которую, прн ярком блеске н совершенно чнстом пебе, рвзвелв весело н бешено летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманнлся: близнлась земля, поквзалнсь Искня, Капрн, в бннокль уже внден был кусквми сахара насыпанный у подножия чего-то снзого Неаполь... Многне леди и джентльмены уже надели легкие, мехом вверх шубкн; безответные, всегда шепотом говорящне бон-кнтайцы, крнвоногие подросткн со смоляными косамн до пят н с девичьнмн густымн ресннцамн, нсподволь вытаскивалн к лестницвм пледы, тростн, чемодвны, несессеры... Дочь господинв из Сан-Францнско стояла нв палубе рядом с принцем, вчера вечером, по счастлнвой случвйности, предствввленным ей, и делала внд, что прнстально смотрнт вдаль, кудв он указывал ей, что-то объясняя, что-то тороплнво н негромко рассказывая; он по росту казвлся среди другнх мвльчнком, он был совсем не хорош собой и странен,— очкн, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конскне, смуглая тонквя кожв на плоском лнце точно натянута н как будто слегка лакнрованв,— но девушка слушала его и от волнення не понимала, что он ей говорнт; сердце ее бнлось от непонятного восторга перед ннм: все, все в нем было не такое, каку прочих,— его сухие руки, его чнстая кожа, под которой текла древняя царская кровь; даже его европейсквя, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда танлн в себе нензъясннмое очарованне. А сам господнн нз Сан-Фрвнцнско, в серых гетрах нв ботннках, все поглядывал на стоявшую возле него знаменнтую красавнцу, высокую, удивнтельного сложения блондннку с рвзрнсованными по последней пврнжской моде глазамн, державшую на серебряной цепочке крохотную, гнутую, облезлую собачку н все рвзговарнвавшую с нею. И дочь, в квкой-то смутной неловкости, старалась не замечвть его.

Он был довольно щедр в путн н потому вполне вернл в заботлнвость всех тех, что кормнлн н понлн его, с утра до вечера служнлн ему, предупреждвя его малейшее желвнне, охрвнялн его чистоту н покой, твскалн его вещн, звали для него носнльщнков, доставлялн его сундукн в гостнннцы. Так было всюду, твк было в плаваннн, так должно было быть н в Неаполе. Неаполь рос н прнближался; музыканты, блестя медью духовых ннструментов, уже столпились на палубе н вдруг оглушнлн всех торжествующнми звукамн марша, гигант командир, в парадной форме, появился на своих мостках н, как мнлостнвый языческнй бог, прнветственно помотал рукой пассажирам. А когда «Атлвнтнда» вошла наконец в гавань, прнвалнла к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, н загрохоталн сходнн,— сколько портье н нх помощнников в картузах с золотымн гвлунами, сколько всякнх комнссионеров, свистунов мальчншек н здоровенных оборванцев с пачквмн цветных открыток в руках кинулось к нему навстречу с предложеннем услуг! И он ухмылялся этнм оборванцам, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и прннц, н спокойно говорнл сквозь зубы то по-английски, то по-нтальянски:

— Go away![1] Via![2]

Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку: рано утром — завтрак в сумрачной столовой, облачное, мало обещающее небо н толпа гндов у дверей вестибюля; потом первые улыбкн теплого розоватого солнца, внд с высокого внсящего балкона на Везувий, до подножня окутанный сняющнмн утреннnмн парамн, на серебрнсто-жемчужную рябь залнва н тонкнй очерк Капрн нв горнзонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных ослнков в двуколках н на отряды мелких солдатнков, шагающих куда-то с бодрой и вызывающей музыкой; потом — выход к автомобнлю н медленное движенне по людным узкнм н сырым корндорам улнц, средн высокнх, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых н ровно, прнятно, но скучно, точно снегом, освещенных музеев илн холодных, пахнущнх воском церквей, в которых повсюду одно н то же: велнчавый вход, закрытый тяжкой кожвной завесой, а внутрн — огромная пустота, молчанне, тнхне огонькн семнсвечннкв, краснеющне в глубнне на престоле, убранном кружевамн, одинокая старуха средн темных деревянных парт, скользкие гробовые плнты под ногами н чье-нибудь «Снятне со креста», непременно знаменнтое; в час — второй завтрак на горе Свн-Мвртнно, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочерн господннв из Сан-Францнско чуть не сделалось дурно: ей показалось, что в зале снднт принц, хотя она уже знала нз газет, что он в Рнме; в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих камннов; а там снова прнготовлення к обеду — снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереннцы шуршащнх по лестннцам шелками н отражающихся в зеркалах декольтнрованных дам, сновв шнроко н гостепрнимно открытый чертог столовой, и красные курткн музыкантов на эстраде, н черная толпа лакеев возле метрдотеля, с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп... Обеды опять былн так обнльны н кушаньями, н вннамн, н минеральнымн водамн, н сластямн, н фруктами, что к одиннадцатн часам вечера по всем номерам разносили горннчные каучуковые пузырн с горячей водой для согревання желудков.

Однако декабрь «выдался» не совсем удачный: портье, когда с ннмн говорнлн о погоде, только виновато поднимали плечн, бормоча, что такого года онн н не запомнят, хотя уже не первый год прнходнлось нм бормотать это н ссылвться на то, что всюду пронсходнт что-то ужасное: на Рнвьере небывалые лнвни и бурн, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит, нз Палермо турнсты, спасаясь от стужн, разбегаются... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня неизменно серело н начннвл сеять дождь, да все гуще н холоднее; тогда пальмы у подъезда отеля блестелн жестью, город казвлся особенно грязным н тесным, музен чересчур однообразными, сигврные окуркн толстяков нзвозчнков в резниовых, крыльями развевающнхся по ветру накндках — нестерпимо вонючими, энергнчное хлопанье нх бнчей над тонкошеими клячамн явно фальшнвым, обувь снньоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасною, а женщины, шлепающне по грязн, под дождем с чернымн раскрытымн головамн,— безобразно коротконогимн; про сырость же н вонь гнилой рыбой от пенящегося у набережной моря н говорнть нечего. Господнн н госпожа нз Сан-Францнско сталн по утрам ссорнться; дочь нх то ходнла бледная, с головной болью, то ожнвала, всем восхнщалвсь н была тогда н мнла, н прекрасна: прекрасны былн те нежные, сложные чувства, что пробуднла в ней встреча с некраснвым человеком, в котором текла необычная кровь, нбо ведь в конце концов и не важно, что нменно пробуждвет девнчью душу,— деньгн лн, слава лн, знатность лн рода... Все уверялн, что совсем не то в Сорренто, на Капрн — там н теплей, н солнечней, и лимоны цветут, н нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья нз Сан-Францнско решнла отправиться со всемн своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тнверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного грота н послушав абруццскнх волынщнков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову н поющнх хвалы деве Марин, поселиться в Сорреито.

[1] Прочь! *(англ.)*
[2] Прочь! *(ит.)*

В день отъезда,— очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий, низко серел над свинцовой зыбью моря. Острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех: ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком,— уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной и в стужу и все-таки неутомимая,— только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела: последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался «живыми картинами» в некоторых притонах. А дождь сек в дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер с воем ломил в мачты и порою, вместе с налетавшей волной, клал пароходик совсем набок, и тогда с грохотом катилось что-то вниз. На остановках, в Кастелламаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, садами, пиниями, розовыми и белыми отелями и дымными, курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы «Royal» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему,— совсем стариком,— уже с тоской и злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние... Наконец, уже в сумерках, стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножия красными огоньками, ветер стал мягче, теплей, благовонней, по смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани... Потом вдруг загремел и шлепнулся в воду якорь, наперебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников — и сразу стало на душе легче, ярче засияла кают-компания, захотелось есть, пить, курить, двигаться.... Через десять минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием потянулась вверх по откосу, среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых, корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев, с блеском оранжевых плодов и толстой глянцевитой листвы скользивших вниз, под гору, мимо открытых окон вагончика... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого ее острова!

Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фюникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания,— несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах и совсем не щедрых на траты. Господин из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой, точно оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки, по-птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек — и как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско к какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху, впереди. И все было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль.

Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновенье поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в той же визитке и с той же зеркально причесанной головою. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то сейчас же и померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце ее вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, темном острове...

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа — Рейс XVII. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско,— так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко,— но он не спеша, собственноручно, хотя с непривычки и не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову мертдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил:

— Все, сэр?

И, получив в ответ медлительное «yes»[1], прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов».

— Я видел ее на открытках,— сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом.— А этот Джузеппе — ее муж?

— Двоюродный брат, сэр,— ответил метрдотель.

---

[1] да *(англ.)*.

И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы.

А затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска, мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И Луиджи, в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешивший горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал:

— Ha sonato, signore? [1]

И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос:

— Yes, come in...[2]

Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений.

Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и прибрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело с полнеющей от усиленного питания талией кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями — черные шелковые носки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную, с выпятившейся грудью рубашку, вправил в блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, кончикам пальцев было очень больно, запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком, но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело — и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах.

— О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие, с подагрическими затвердениями в суставах пальцы, их крупные и выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно...

Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он. И, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней, жениной, громко спросил, скоро ли они?

— Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос.

— Отлично,— сказал господин из Сан-Франциско.

И не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешила впереди него изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры; на зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно: из темноты повеяло на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вайи, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря... В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавия некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету,— как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, шея его напружинилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась ко́робом — и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.

Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше — и ни единая душа из гостей не узна́ла бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком, он всполошил весь дом, всю столовую. И многие вскакивали из-за еды, многие, бледнея, бежали к читальне, на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» — и никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешными заверениями, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как лакеи и коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки с черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный... Когда его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер,— самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора,— прибежала его дочь, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, поднятой корсетом, потом большая и уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса... Но тут он уже и головой перестал мотать.

Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, меж тем как хозяин подходил то к тому, то к другому, в бессильном и приличном раздражении пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно», и давая слово, что он примет «все зависящие от него меры» к устранению неприятности; тарантеллу пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой... Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, на которые с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый и холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло, хриплое клокотанье, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не

[1] Вы звонили, синьор? *(ит.)*
[2] Да, входите... *(англ.)*

господин из Сан-Франциско,— его больше не было,— а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось — хрип оборвался. И медленно, медленно, на глазах у всех, потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть...

Вошел хозяин. «Già é morto»[1],— сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату.

— О нет, мадам,— поспешно, корректно, но уже без всякой любезности и не по-английски, а по-французски возразил хозяин, которому совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приехавшие из Сан-Франциско.— Это совершенно невозможно, мадам,— сказал он и прибавил в пояснение, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их.

Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее: если мадам не нравятся порядки отеля, он не смеет ее задерживать; и твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиции уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть...

Ночью весь отель спал. Открыли окно в сорок третьем номере,— оно выходило в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан,— потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене... В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях.

— Pronto? (Готово?) — озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону.— Partenza![2] — шепотом крикнул он, как бы провожая поезд, то, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов,— и горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу.

Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову набок, вполголоса почтительнейше спросил:

— Ha sonato, signore?

И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери:

— Yes, come in...

А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов,— принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел — и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья — целую ночь играл в кости в траттории,— и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной седёлки с аршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками,— тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее, на таком воздухе, среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку, да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною... Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, которой так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки — и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова водворились мир и покой.

На этом острове две тысячи лет тому назад жил человек, несказанно мерзкий в удовлетворении своей похоти и почему-то имевший власть над миллионами людей, наделавший над ними жестокостей сверх всякой меры, и человечество навеки запомнило его, и многие, многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все, приехавшие на Капри именно с этой целью, еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки и за которыми опять должны были бежать по каменистым тропинкам, и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках, дабы подгонять этими палками осликов. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном, и на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади — рыбой и зеленью, и были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско, и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам, спускались от Анакапри два абруццских горца. У одного под кожаным плащом была волынка,— большой козий мех с двумя дудками, у другого — нечто вроде деревянной цевницы. Шли они — и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепи-

[1] Уже умер (*ит.*).
[2] Отправление! (*ит.*)

тельным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. На полпути они замедлили шаг: над дорогой, в гроте скалистой стены Монте-Соляро, вся озаренная солнцем, вся в тепле и блеске его, стояла в белоснежных гипсовых одеждах и в царском венце, золотисто-ржавом от непогод, матерь божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу, к вечным и блаженным обителям трижды благословенного сына ее. Они обнажили головы — и полились наивные и смиренно-радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной...

Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространствовав из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно, с таким почетом везли его в Старый Свет. Но теперь уже скрывали его от живых — глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм. И опять, опять пошел корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь.

Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем. Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростные взвизгивания сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною: той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялась таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разрывавшихся вокруг бледнолицего телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе «Атлантиды», тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля,— клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина «Атлантиды», столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...

Октябрь, 1915

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ

На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская.

Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тонкой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарованье которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии,— изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство.

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским

двнжеиием оправнла волосы, дернула уголкн передника к плечам н, сняя глазамн, побежала наверх. Начальннца, моложавая, ио седая, спокойно сндела с вязаньем в руках за пнсьмениым столом, под царским портретом.

— Здравствуйте, mademoiselle Мещерская,— сказала она по-французскн, ие подинмая глаз от вязанья.— Я, к сожаленню, уже не первый раз прннуждена призывать вас сюда, чтобы говорнть с вами относнтельио вашего поведеиня.

— Я слушаю, madame,— ответнла Мещерская, подходя к столу, глядя на иее ясно н жнво, ио без всякого выражения на лнце, н прнсела так легко н грацнозио, как только она одна умела.

— Слушать вы меня будете плохо, я, к сожаленню, убедилась в этом,— сказала начальинца н, потянув ннтку и завертев на лакнрованном полу клубок, иа который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза.— Я не буду повторяться, ие буду говорить пространно,— сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновеино чистый н большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландкн н свежестью ландышей на пнсьмеином столе. Она посмотрела иа молодого царя, во весь рост напнсанного среди какой-то блистательиой залы, иа ровный пробор в молочных, аккуратно гофрнрованных волосах начальннцы и выжндательно молчала.

— Вы уже не девочка,— миогозначительио сказала начальннца, втайне начнная раздражаться.

— Да, madame,— просто, почти весело ответнла Мещерская.

— Но н не женщнна,— еще миогозначнтельнее сказала начальница, н ее матовое лицо слегка заалело.— Прежде всего,— что это за прнческа? Это жеиская прическа!

— Я не виновата, madame, что у меня хорошне волосы,— ответила Мещерская и чуть тронула обеими рукамн свою красиво убранную голову.

— Ах, вот как, вы ие вниоваты! — сказала начальннца.— Вы не виноваты в прнческе, не вниоваты в этнх дорогнх гребнях, не вниоваты, что разоряете своих родителей на туфелькн в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете нз виду, что вы пока только гнмиазнстка...

И тут Мещерская, ие теряя простоты н спокойствия, вдруг вежлнво перебнла ее:

— Простнте, madame, вы ошибаетесь: я жеищииа. И виноват в этом — знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случнлось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офнцер, некрасивый н плебейского внда, не имевшнй ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелнл ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прнбывшей с поездом. И невероятное, ошеломнвшее иачальницу признанне Олн Мещерской совершенно подтвердилось: офнцер заявнл судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ннм близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в деиь убнйства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала ннкогда любнть его, что все этн разговоры о браке — одио ее издевательство над иим, н дала ему прочесть ту страничку дневиика, где говорилось о Малютине.

— Я пробежал этн строки н тут же, на платформе, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в иее,— сказал офицер.— Диевиик этот, вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июля прошлого года.

В диевннке было написано следующее:

«Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, ио тотчас же проснулась... Нынче я стала жеищиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала так хорошо, как ннкогда в жнзнн. Я н обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меия было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлнва, как инкто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меия разбуднла Катя, сказала, что приехал Алексей Михайловнч. Я ему очеиь обрадовалась, мне было так приятно приинять его н заинмать. Он прнехал на паре своих вяток, очень красивых, н онн все время стоялн у крыльца, он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что ие застал папу, был очеиь ожнвлен н держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно влюблен в меия. Когда мы гулялн перед чаем по саду, была опять прелестиая погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, н он вел меия под руку и говорнл, что он Фауст с Маргарнтой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив н всегда хорошо одет — мне ие понравилось только, что он прнехал в крылатке,— пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные частн н совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курнл, потом пересел ко мне, стал опять говорнть какие-то любезности, потом рассматривать н целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, н он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я ие понимаю, как это могло случнться, я сошла с ума, я никогда ие думала, что я такая! Теперь мне одни выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережнть этого!..»

Город за этн апрельскне днн стал чнст, сух, камни его побелелн, и по ннм легко н приятно ндти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщнна в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком нз черного дерева. Она переходнт по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузинц н свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским моиастырем н острогом, белеет облачный склон неба н сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься средн луж под стеной монастыря н повернешь налево, увидишь как бы большой низкнй сад, обнесенный белой оградой, над воротамн которой написано Успение божией матерн. Маленькая женщнна мелко крестнтся и прнвычно ндет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботннках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птнц, сладко поющнх и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы ие было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, н как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? — Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщнна эта — классная дама Олн Мещерской, немолодая девушка, давно жнвущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем ие замечательный прапорщик,— она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она — идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская — предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам ие спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов — и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

— Я в одной папиной книге,— у него много старинных, смешных книг,— прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза,— ей-богу, так и написано: кипящие смолой! — черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки,— понимаешь, длиннее обыкновенного! — маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи,— я многое почти наизусть выучила, так все это верно! — но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть,— ты послушай, как я вздыхаю,— ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

1916

КНИГА

Лежа на гумне в омете, долго читал — и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалями, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю,— главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.

Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где,— особенно к югу,— еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.

По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.

— На своей девочке куст жасмину посадил! — бодро говорит он.— Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире.

В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет — не спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, эта усадьба живет для ее флейтового пения?

«На своей девочке куст жасмину посадил». А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте,— для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, что недаром, а для кого-то и для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!

20 августа. 1924

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом,— все было прелестно в этой маленькой женщине,— и сказала:

— Я, кажется, пьяна... Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже на знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно... Это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваем?

Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону: пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани.

Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца леканья под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы). Поручик пробормотал:

— Сойдем...

— Куда? — спросила она удивленно.

— На этой пристани.

— Зачем?

Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.

— Сумасшествие...

— Сойдем,— повторил он тупо.— Умоляю вас...

— Ах, да делайте, как хотите,— сказала она, отворачиваясь.

Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни... Поручик кинулся за вещами.

Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места,

каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города... Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике,— и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.

В десять часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и — уже рассудительна.

— Нет, нет, милый,— сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе,— нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло... Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара...

И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани,— как раз к отходу розового Самолета,— при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад.

Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею — и пуст. Это было странно! Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было... И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.

— Странное приключение! — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы.— «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать...» И уже уехала...

Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван... Да, вот и конец этому «дорожному приключению»! Уехала — и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор... И прости, и уже навсегда, навеки... Потому что где же они теперь могут встретиться? — «Не могу же я,— подумал он,— не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь!»— И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! — И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние.

«Что за черт! — подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой.— Да что же это такое со мной? И что в ней особенного и что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар! И главное, как же я проведу теперь, без нее, целый день в этом захолустье?»

Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса... Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно, но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство — то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь! — «А главное,— подумал он,— ведь и никогда уже не скажешь! И что делать, как прожить этот бесконечный день, с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход!»

Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд... Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением: как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? — «Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе»,— подумал он, направляясь к базару.

Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди возов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность, мужики оглушали его, кричали ему: «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга, потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной светло-стальной ширью реки... Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. Околыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало... Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, заказал ботвинью со льдом... Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость; даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, а вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один, нынешний день,— провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее... Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимее жизни.

— Совсем разгулялись нервы! — сказал он, наливая пятую рюмку водки.

Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать: что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться — он это чувствовал слишком живо — было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо

пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы: «Отныне вся моя жизнь навеки, до гроба, ваша, в вашей власти». Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился: он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила:

— А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?

На углу, возле почты, была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых эполетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами... Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено,— да, поражено, он теперь понимал это,— этим страшным «солнечным ударом», слишком большой любовью, слишком большим счастьем! Он взглянул на чету новобрачных — молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе,— перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе набекрень... Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы.

— Куда идти? Что делать?

Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души; белая густая пыль лежала на мостовой; и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь... Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад.

Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее,— только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало: лицо его,— обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми, выгоревшими от солнца усами и голубоватой белизной глаз, от загара казавшихся еще белее,— имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего, безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы,— и наконец заснул, а когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи... И вчерашний день и нынешнее утро вспомнились так, точно они были десять лет тому назад.

Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет, долго пил чай с лимоном. Потом приказал привести извозчика, вынести вещи и, садясь в пролетку, на ее рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею целых пять рублей.

— А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью! — весело сказал извозчик, берясь за вожжи.

Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода.

— В аккурат доставил! — сказал извозчик заискивающе.

Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошел на пристань... Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, потом летящий конец, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода... И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней.

Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром.

Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг.

Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.

Приморские Альпы. 1925

ИДА

Однажды на Святках завтракали мы вчетвером,— три старых приятеля и некто Георгий Иванович,— в Большом Московском.

По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютней сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, к круглому столу перед полукруглым диваном. Пошли туда.

— Господа,— сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем,— господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Раскиньте же нам, услужающий, самобранную скатерть как можно щедрее,— сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками.— Вы мои королевские замашки знаете.

— Как не знать, пора наизусть выучить,— сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой.— Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся...

И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским... Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам. И он налил три рюмки, потом шутливо замедлился:

— Святейший Георгий Иванович, и вам позволите?

Георгий Иванович, имевший единственное и престранное занятие — быть другом известных писателей, художников, артистов,— человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный, нежно покраснел,— он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь,— и ответил с некоторой бесшабашностью и развязностью:

— Даже и очень, грешнейший Павел Николаевич!

И композитор налил и ему, легонько стукнул рюмкой о наши рюмки, махнул водку в рот со словами: «Дай боже!» — и, дуя себе в усы, принялся за закуски. Принялись и мы и занимались этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал:

—Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, ныне грустно. А грустно мне потому, что вспомнилась мне ныне, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно три года тому назад, на второй день Рождества...

— История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная,— сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой.

Композитор покосился на него.

— Амурная? — сказал он холодно и насмешливо.— Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на Страшном суде отвечать? Ну, да бог с вами. «Je veux un trésor qui les contient tous, je veux la jeunesse!»[1] — подымая брови, запел он под машину, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам:

— Друзья мои, вот эта история. В некоторое время, в некотором царстве ходила в дом некоего господина некоторая девица, подруга его жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что господин звал ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчества ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как полагается, жениха — и больше ничего...

Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но внимания, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она — он к ней: «А-а, Ида, дорогая! Здравствуйте, здравствуйте, душевно рад вас видеть!» А она в ответ только улыбается, прячет носовой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичьи (и немножко бессмысленно): «Маша дома?» — «Дома, дома, милости просим...»— «Можно к ней?» И спокойно идет через столовую к дверям Маши: «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий, а к этому голосу прибавьте все прочее: свежесть молодости, здоровья, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату с мороза... затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений... Было и лицо у нее редкое,— на первый взгляд как будто совсем обыкновенное, а приглядись — залюбуешься: тон кожи ровный, теплый,— тон какого-нибудь самого первого сорта яблока,— цвет фиалковых глаз живой, полный...

Да, приглядись — залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет в телячий восторг, скажет: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете!»— увидит ее ответную, милую, но как будто не совсем внимательную улыбку — и уйдет к себе, в свой кабинет, и опять займется какой-нибудь чепухой, называемой творчеством, черт бы его побрал совсем. И так вот и шло время, и так наш господин даже никогда и не задумался об этой самой Иде мало-мальски серьезно — и совершенно, можете себе представить, не заметил, как она, в одно прекрасное время, исчезла куда-то. Нет и нет Иды, а он даже не догадывается у жены спросить: а куда же, мол, наша Ида девалась? Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает, вообразит сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затоскует на минуту — и опять забудет. И прошел таким образом год, прошел другой... Как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край...

Дело было на самое Рождество. Но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь с рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого коня и поехал. Едет день, едет ночь и доезжает наконец до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, нужно заметить, со значительным опозданием и посему, как только стал поезд замедлять возле платформы ход, выскакивает из вагона, хватает за шиворот первого попавшегося носильщика и кричит: «Не ушел еще курьерский туда-то?» А носильщик вежливо усмехается и молвит: «Только что ушел-с. Ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать».— «Как, негодяй? Ты шутишь? Что ж я теперь делать буду? В Сибирь тебя, на каторгу, на плаху!» — «Мой грех, мой грех,— отвечает носильщик,— да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство. Извольте подождать пассажирского...» И поник головой и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию...

На станции же оказалось весьма людно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло вьюгой, и на железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к черту, на узловых станциях было полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и вьюгу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой беды просидеть в нем даже сутки. «Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью»,— с удовольствием подумал он, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной помолодевшим на двадцать лет, направился к буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской щукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услыхал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, «порывисто» обернулся — и, можете себе представить, кого увидел перед собой? Иду!

От радости и удивления первую секунду он даже слова не мог произнести и только, как баран на новые ворота, смотрел на нее. А она — что значит, друзья мои, женщина! — даже бровью не моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться и даже изобразила на лице некоторую радость, но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой,— говорит,— какими судьбами? Вот приятная встреча!» И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то чересчур просто и совсем, совсем не с той манерой, как говорила когда-то, главное же... чуть-чуть насмешливо, что ли. А господин наш вполне опешил еще и оттого, что и во всем прочем совершенно неузнаваема стала Ида: как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь этаком хрустальном бокале, а соответственно с этим и одета: большой скромности, большого кокетства и дьявольских денег зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка... Когда господин неловко и смиренно поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад, через плечо, небрежно сказала: «Познакомьтесь кстати с моим мужем»,— и тотчас же быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом, по-военному, представился студент.

— Ах, наглец! — воскликнул Георгий Иванович.— Обыкновенный студент?

— Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный,— сказал композитор с невеселой усмешкой.— Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется, благородного, такого чудес-

[1] «Я хочу обладать сокровищем, которое вмещает в себе все, я хочу молодости!» (*фр.*)

ного, мраморного юношеского лица. Одет щеголем: тужурка из того самого тонкого светло-серого сукна, что носят только самые большие франты, плотно облегающая ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромен тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке,— в фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно,— быстро обнажил другую руку, тонкую, бледно-лазурную и от перчатки немножко как бы в муке, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» — еще изумленнее подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду — и мгновенно понял по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб, но раб, однако, не простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью.— «Очень, очень рад познакомиться! — от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился.— И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды»,— сказал он, дружелюбно глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит: «Помолчи, Петрик, не конфузь меня»,— сказала Ида поспешно и обратилась к господину: «Дорогой мой, но я вас тысячу лет не видала! Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему неинтересны наши воспоминания, будет только скучно и от скуки неловко, поэтому пойдем, походим по платформе...» И, сказав так, взяла она нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где снег был чуть не по колено, и — неожиданно изъяснилась там в любви к нему...

— То есть как в любви? — в один голос спросили мы.

Композитор вместо ответа опять набрал воздуху в грудь, надуваясь и поднимая плечи. Он опустил глаза и, мешковато приподнявшись, потащил из серебряного ушата, из шуршащего льда, бутылку, налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. Сгорбившись, стараясь скрыть смущение, он выпил вино до дна, затянул было под машину: «Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage!»[1] — но тотчас же оборвал и, решительно подняв на нас еще более сузившиеся глаза, сказал:

— Да, то есть так в любви... И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико неожиданно, неправдоподобно? Да, разумеется, но — факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает и как поживают их общие московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее, затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их именье под Витебском... Господин же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов, в невероятном количестве заваливших всё и вся вокруг,— все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях... смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно: то, что, оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот, можете себе представить, что произошло дальше: дальше произошло то, что на какой-то самой дальней, боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения неожиданно, без передышки сказала ему: «А теперь, дорогой, ответьте мне еще на один вопрос: знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых пять лет и люблю до сих пор?»

Машина, до этой минуты рычавшая вдали неопределенно и глухо, вдруг загрохотала героически, торжественно и грозно. Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивленные глаза. Потом негромко произнес:

— Да, вот что сказала она ему... А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшейся вам в любви и ждущей от вас ответа на это признание? Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, не то, конечно! А полураскрытые губы? А выражение, выражение всего этого в общем, вместе, то есть лица, глаз и губ? А длинная соболья муфта, в которую были спрятаны ее руки, а колени, которые обрисовывались под какой-то клетчатой сине-зеленой шотландской материей? Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого! А главное, главное: что же можно было ответить на это сногсшибательное по неожиданности, ужасу и счастью признание, на выжидающее выражение этого доверчиво поднятого, побледневшего и исказившегося (от смущения, от какого-то подобия улыбки) лица?

Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля. И он сам ответил себе:

— Ничего, ничего, ровно ничего! Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, выну́в теплую руку из теплой, душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-с, только и всего: поцеловала — и ушла. И тем вся эта история и кончилась... И вообще довольно об этом,— вдруг резко меняя тон, сказал композитор и громко, с напускной веселостью прибавил: — И давайте по сему случаю пить на сломную голову! Пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки и все же навеки связаны самой страшной в мире связью! И давайте условимся так: тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой. Услужающий! — закричал он на всю залу.— Несите уху! И хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами!

Завтракали мы в этот день до одиннадцати часов вечера. А после поехали к Яру, а от Яра — в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой, с красной головкой, и вели себя в общем возмутительно: пели, орали и даже плясали казачка. Композитор плясал молча, свирепо и восторженно, с легкостью необыкновенной для его фигуры. А неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор вдруг сорвал с себя шапку и что есть силы, со слезами закричал на всю площадь:

— Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!

Приморские Альпы. 1925

[1] «Дай мне, дай мне наглядеться на твое лицо!» (*фр.*)

Из книги «Темные аллеи»

КАВКАЗ

Приехаа в Москау, я аороаски остановился а незаметиых номерах а переулке аозле Арбата н жил томительно, затворником — от сандания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни асего три раза и каждый раз аходила поспешно со слоаами:

— Я только на одну минуту...

Она была бледна прекрасной бледностью любящей азаолнованной женщины, голос у нее срыаался, и то, как она, бросиа куда попало зонтик, спешила поднять ауальку н обнять меия, потрясало меня жалостью н аосторгом.

— Мне кажется,— гоаорила она,— что он что-то подозреаает, что он даже знает что-то,— может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу... Я думаю, что он на асе способен при его жестоком, самолюбнаом характере. Раз он мне прямо сказал: «Я ни перед чем не останоалюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и, чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так аиушила я ему, что умру, если не уаижу юга, моря, но, радн бога, будьте терпелиаы!

План наш был дерзок: уехать а одиом и том же поезде на кааказское побережье и прожить там а каком-нибудь соасем диком месте три-четыре недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое аремя возле Сочн,— молодой, одинокий,— на асю жизнь запомнил те осеннне аечера средн черных кипарисоа, у холодных серых аолн... И она бледнела, когда я гоаорнл: «А теперь я там буду с тобой, а горных джунглях, у тропического моря...» В осущесталенне нашего плана мы не аерилн до последней минуты — слишком аеликим счастьем казалось нам это.

В Москае шлн холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не аернется, было грязно, сумрачно, улицы мокро и черно блестелн раскрытыми зонтами прохожих н поднятыми, дрожащимн на бегу аерхами изаозчичьих пролеток. И был темный, отаратнтельный аечер, когда я ехал на аокзал, асе аиутри у меня замирало от треаоги и холода. По вокзалу н по платформе я пробежал бегом, надаинув на глаза шляпу и уткнув лицо а аоротник пальто.

В маленьком купе пераого класса, которое я заказал зараиее, шумно лил дождь по крыше. Я немедля опустил оконную занааеску н, как только носильщнк, обтирая мокрую руку о саой белый фартук, азял на чай и аышел, на замок запер даерь. Потом чуть приоткрыл занааеску н замер, не саодя глаз с разнообразной толпы, взад н аперед сноаавшей с аещами адоль аагона а темном саете аокзальных фонарей. Мы услоанлись, что я приеду на аокзал как можно раньше, а она как можио позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с иим на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел асе напряженнее — их все не было. Ударил аторой заонок — я похолодел от страха: опоздала или он а последнюю минуту адруг не пустил ее! Но тотчас аслед за тем был поражеи его аысокой фигурой, офицерскнм картузом, узкой шинелью и рукой а замшеаой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал а угол диаана. Рядом был аагон аторого класса — я мысленно аидел, как он хозяйстаенно аошел а него аместе с нею, оглянулся,— хорошо лн устроил ее носильщик,— и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее... Третий заонок оглушил меиня, тронуаший-ся поезд поверг а оцепенение... Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нестн роано, на асех парах... Кондуктору, который проаоднл ее ко мне н перенес ее аещн, я ледяной рукой сунул десятнрублеаую бумажку...

Войдя, она даже не поцелоаала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диаан и сннмая, отцепляя от аолос, шляпку.

— Я соасем не могла обедать,— сказала она.— Я думала, что не аыдержу эту страшную роль до конца. И ужасно хочу пнть. Дай мне нарзану,— сказала она, а пераый раз гоаоря мне «ты».— Я убеждена, что ои поедет аслед за мною. Я дала ему даа адреса, Геленджик н Гагры. Ну аот, он и будет дня через три-четыре а Геленджике... Но бог с ним, лучше смерть, чем этн мукн...

Утром, когда я аышел а коридор, а нем было солнечно, душно, нз уборных пахло мылом, одеколоном, н асем, чем пахнет людный аагон утром. За мутными от пыли и нагретыми окнами шла роаная аыжженная степь, аидны были пыльные широкие дорогн, арбы, алекомые аолами, мелькалн железнодорожные будкн с канареечными кругами подсолнечникоа н алымн мальаамн а палнсадниках... Дальше пошел безграннчный простор нагнх раввнн с курганамн н могнльннками, нестерпимое сухое солнце, небо, подобное пыльной туче, потом прнзракн первых гор на горизонте...

Из Геленджика н Гагр она послала ему по открытке, напнсала, что еще не знает, где останется.

Потом мы спустились адоль берега к югу.

Мы нашлн место пераобытное, заросшее чинароаыми лесами, цаетущимн кустарннкамн, красным дереаом, магнолиями, гранатамн, среди которых поднималнсь аеерные пальмы, чернелн кипарисы...

Я просыпался рано н, пока она спала, до чая, который мы пили часоа а семь, шел по холмам а лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто н радостно. В лесах лазурно саетился, расходнлся и таял душистый туман, за дальннмн леснстыми вершинами сияла предаечная белнзна снежных гор... Назад я проходнл по знойному и пахнущему из труб горящнм кизяком базару нашей дереани: там кипела торговля, было тесно от народа, от аерхоаых лошадей и ослнкоа,— по утрам съезжалось туда на базар множестао разноплеменных горцеа,— плаано ходили черкешенкн а черных длинных до земли одеждах, а красных чувяках, с закутаннымн ао что-то черное голоаамн, с быстрымн птнчьимн азглядами, мелькаашими порой из этой траурной закутанности.

Потом мы уходилн на берег, асегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого заатрака. После заатрака — асе жаренная на шкаре рыба, белое анно, орехи н фрукты — а знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через скаозные стаанн горячне, аеселые полосы саета.

Когда жар спадал н мы открыаали окно, часть моря, аидная из него между кипарнсоа, стояашнх на скате под нами, имела цает фиалкн и лежала так роано, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте.

На закате часто громоздились за морем удивительные облака; они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: еще две, три недели — и опять Москва!

Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той же бесконечной песни.

Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрела поздняя луна!

Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тявкали чекалки... Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их,— они всегда сбегаются в такие ночи к жилью,— мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и тявкали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.

Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

12 ноября 1937

СТЕПА

Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой.

Он, в чуйке с поднятым воротником, в глубоко надвинутом картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в высоких сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми, застывшими руками мокрые, скользкие, ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь; слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер.

Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе, потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потопом, пахнущим огуречной свежестью и фосфором; перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая, ветвистая молния, а над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед за тем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже скоком... Красильщиков рос и учился в Москве, кончил там университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он, из-за связи с одной известной актрисой, промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск: безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных улицах, завтраки в Троицком низке с актерами Малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кофейне Трамблэ, вечером ожиданье ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина... Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь — ее все нет. Потом наконец звонок — и она, во всей своей летней нарядности, и ее задыхающийся голос: «Прости, пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли, совсем завяла твоя чайная роза, так спешила, что лихача взяла, голодна ужасно...»

Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоялый двор старика-вдовца, мещанина Пронина. До города оставалось еще двадцать верст,— надо переждать, подумал Красильщиков, лошадь вся в мыле, и еще неизвестно, что будет опять, ишь какая чернота в ту сторону и все еще загорается... На переезде к постоялому двору он на рысях свернул и осадил возле деревянного крыльца.

— Дед! — громко крикнул он.— Принимай гостя!

Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны, на крик никто не отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо вслед за вскочившей туда грязной и мокрой собакой,— вид у нее был бешеный, глаза блестели ярко и бессмысленно,— сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ременным поясом в серебряном наборе, вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сенцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. Верно, скотину убирают, подумал он и, разогнувшись, посмотрел в поле: не ехать ли дальше? Вечерний воздух был неподвижен и сыр, с разных сторон бодро били вдали перепела в отягченных влагой хлебах, дождь перестал, но надвигалась ночь, небо и земля угрюмо темнели, за шоссе, за низкой чернильной грядой леса, еще гуще и мрачней чернела туча, широко и зловеще вспыхивало красное пламя — и Красильщиков шагнул в сенцы, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую, в избу: опять никого, одни мухи сонно и недовольно загудели в жаркой комнате на потолке.

— Как подохли! — вслух сказал он — и тотчас услыхал скорый и певучий, полудетский голос соскользнувшей в темноте с нар Степы, дочери хозяина:

— Это вы, Василь Ликсеич? А я тут одна, стряпуха поругалась с папашей и ушла домой, а папаша взяли работника и уехали по делу в город, вряд ли и вернутся нынче... Напугалась грозы до смерти, а тут слышу, кто-й-то подъехал, еще пуще испугалась... Здравствуйте, извините меня, пожалуйста...

Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглое личико:

— Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город, да, вишь, что делается, заехал переждать... А ты, значит, думала, разбойники подъехали?

Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем... Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой.

— Я сейчас лампу зажгу,— поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом.— Вас сам бог послал, что бы я тут делала одна,— певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки, из ее жестяного кружка, стекло.

Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку.

— Погоди, не надо,— вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию.— Постой, повернись-ка на минутку ко мне...

Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе,— она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся:

— Еще пуще испугалась?

— Василь Ликсеич...— пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.

— Погоди. Разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда я заезжаю.

— Лучше вас на свете нету,— выговорила она тихо и горячо.

— Ну вот видишь...

Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже.

— Василь Ликсеич... за ради Христа... Вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом... папаша заедут... Ах, не надо!

Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые, далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смирно, молча, он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок... Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался: «А папаша в город уехали...» Вот тебе и уехали! Скверно, он все сразу поймет — такой сухенький и быстрый старичок в серенькой поддевочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь...

Он без сна лежал до того часа, когда темнота избы стала светлеть посередине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее: лежит, все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне! Милая и жалкая девчонка...

Когда в небе стало совсем светло и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами.

— Степа,— сказал он осторожно.— Мне пора.

— Уж едете? — прошептала она бессмысленно.

И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками:

— Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что ж мне теперь делать?

— Степа, я опять скоро приеду...

— Да ведь папаша будут дома,— как же я вас увижу! Я бы в лес за шоссе пришла, да как же мне отлучиться из дому?

Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии: «Ах!»

Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только что показавшегося солнца, а она стояла на нарах на коленях и, рыдая, по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала:

— Василь Ликсеич... за ради Христа... за ради самого царя небесного, возьмите меня замуж! Я вам самой последней рабой буду! У порога вашего буду спать — возьмите! Я бы и так к вам ушла, да кто ж меня так пустит! Василь Ликсеич...

— Замолчи,— строго сказал Красильщиков.— На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?

Она села на ноги, сразу оборвав рыдания, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза:

— Правда?

— Конечно, правда.

— Мне на Крещенье уже шестнадцатый пошел,— поспешно сказала она.

— Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно...

Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодске.

5 октября 1938

РУСЯ

В одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва — Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде, к опущенному окну вагона первого класса, подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила:

— Послушайте. Почему мы стоим?

Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.

На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

— Однажды я жил в этой местности на каникулах,— сказал он.— Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный,— хозяева были люди обедневшие,— за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.

— И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.

— Да, все, как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам, и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зелено-

ватое, прозрачное, н там, нв горнзонте, вот как сейчас, все что-то тлеет н тлеет... Весло нашлось только одно н то вроде лопаты, н я греб нм, как днкарь,— то направо, то налево. На протнвоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ннм всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразнмая тншина — только комвры ноют н стрекозы летают. Нккогда не думал, что онн летают по ночам,— оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно.

Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слнвшись в одиу золотую полосу освещеииых окои, н пронесся мнмо. Вагон тотчас тронулся. Проводннк вошел в купе, осветнл его н стал готовнть постелн.

— Ну н что же у вас с этой девнцей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?

— Худая, высоквя. Носнла желтый ситцевый сарвфан и крестьянскне чуньки на босу ногу, плетенные нз какой-то разиоцветной шерстн.

— Тоже, значит, в русском стнле?

— Думаю, что больше всего в стнле бедности. Не во что одеться, ну н сарвфан. Кроме того, она была художннца, училась в Строгановском учнлище жнвопнсн. Да она и сама была жнвописна, даже иконопнсна. Длннная черная коса нв спнне, смуглое лнцо с мвленькнмн темнымн родинкамн, узкнй прввнльный нос, черные глвза, черные брови... Волосы, сухне н жесткне, слегка курчавнлнсь. Все это, прн желтом сарвфане н белых кнсейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжкн н начало ступнн в чуньках — все сухое, с выступвющнмн под тонкой смуглой кожей костямн.

— Я знаю этот тнп. У меня на курсвх такая подруга была. Истернчка, должно быть.

— Возможно. Тем более, что лнцом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолнн. Выходнла только к столу. Выйдет, сядет н молчнт, поквшлнвает, не подннмая глаз, н все перекладывает то нож, то внлку. Еслн же вдруг заговорнт, то так неожнданно н громко, что вздрогнешь.

— А отец?

— Тоже молчалнвый н сухой, высокнй; отставной военный. Прост н мнл был только нх мвльчик, которого я репетироввл.

Проводннк вышел из купе, сказал, что постелн готовы, н пожелал спокойиой ночи.

— А как ее звали?

— Руся.

— Это что же за нмя?

— Очень простое — Маруся.

— Ну н что же, ты был очень влюблен в нее?

— Конечно, казалось, что ужасно.

— А она?

Он помолчал и сухо ответнл:

— Вероятно, н ей так казвлось. Но пойдем спать. Я ужвсно устал зв день.

— Очень мнло! Только двром звинтересовал. Ну, расскажн хоть в двух словах, чем и как ввш роман кончился.

— Да ннчем. Уехал, и делу конец.

— Почему же ты не женился на ней?

— Очевндно, предчувствовал, что встречу тебя.

— Нет, серьезно?

— Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...

И, умывшнсь н почнстнв зубы, онн затворились в образовавшейся тесноте купе, разделнсь н с дорожной отрадой леглн под свежее гляицевнтое полотно простынь н на такне же подушкн, все скользнвшне с прнподнятого нзголовья.

Снне-лнловый глазок над дверью тнхо глядел в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курнл и мысленно смотрел в то лето...

На теле у нее тоже было много маленькнх темных родинок — эта особенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сврафвн был шнрокнй, легкии, н в нем твк свободно было ее долгому девнчьему телу. Одиаждьı она промочила в дождь ногн, вбежала нз сада в гостнную, н он кннулся разуввть н целовать ее мокрые узкне ступнн — подобного счастья не было во всей его жизнн. Свежнй, пахучнй дождь шумел все быстрее н гуще за открытымн на балкон дверямн, в потемневшем доме все спалн после обеда — и как страшно нспугал его н ее какой-то черный с металлнчески-зеленым отлнвом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежввшнй из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую мннуту, когда оин забыли всякую осторожность. Увндав, как онн вскочнлн с днвана, он торoплнво и согнувшись, точно нз делнкатностн, побежал назад под дождь с опущенным блестящнм хвостом...

Первое время она все прнглядывалась к нему; когда он заговврнвал с ней, темно краснела н отвечала насмешлнвым бормотаннем; за столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу:

— Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любнт. Впрочем, он н окрошки не любит, н лапшн не любнт, н простоквашу презнрает, н творог ненавнднт.

По утрам он был занят с мальчнком, онв по хозяйству — весь дом был на ней. Обедалн в час, и после обеда она уходила к себе в мезонни нлн, еслн не было дождя, в сад, где стоял под березой ее мольберт, н, отмахнваясь от комаров, пнсала с нвтуры. Потом стала выходнть на балкон, где он после обеда сндел с книгой в косом камышевом кресле, стояла, заложнв руки за спнну, и посматривала на него с неопределенной усмешкой:

— Можно узнать, какне премудростн вы нзволнте штудировать?

— Историю французской революцнн.

— Ах, бог мой! Я н не знала, что у нас в доме оказался революцнонер!

— А что ж вы свою жнвопнсь забросилн?

— Вот-вот н совсем заброшу. Убеднлась в своей бездарностн.

— А вы покажнте мне что-ннбудь нз вашнх писвннй.

— А вы думаете, что вы что-ннбудь смыслнте в жнвопнсн?

— Вы страшно самолюбнвы.

— Есть тот грех...

Нвконец предложнла ему однажды покататься по озеру, вдруг решнтельно сказала:

— Кажется, дождлнвый пернод нашнх тропнческнх мест кончнлся. Давайте развлеквться. Душегубка наша, првввда, довольно гннлая н с дырявым дном, но мы с Петей все дыры забнлн кугой...

День был жаркнй, парило, прнбрежные трввы, нспещренные желтымн цветочкамн курнной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, н над ннмн ннзко внлнсь несметные бледно-зеленые мотыльки.

Он усвоил себе ее постоянный насмешлнвый тон н, подходя к лодке, сказал:

— Наконец-то вы снизошлн до меня!

— Наконец-то вы собралнсь с мыслямн ответнть мне! — бойко ответнла она н прыгнула на нос лодкн, распугав лягушек, со всех сторон зашлепавшнх в воду, но вдруг днко взвнзгнула н подхватнла сарафан до самых колен, топая ногами:

— Уж! Уж!

Он мельком увидал блестящую смуглость ее голых ног, схватнл с носа весло, стукнул нм нзвнвавшегося по дну лодкн ужа н, поддев его, далеко отброснл в воду.

Она была бледна какой-то нндусской бледностью, родиикн иа ее лнце сталн темией, чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнулв:

— Ох, какая гадость! Недаром слово ужас пронсходнт от ужа. Онн у нас тут повсюду, н в саду, н под домом... И Петя, представьте, берет нх в рукн!

Впервые заговорнла она с ннм просто, н впервые взглянулн они друг другу в глаза прямо.

— Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнулн!

Она совсем пришла а себя, улыбнулась и, перебежав с иоса на корму, аесело села. В саоем нспуге оиа поразила его красотой, сейчас он с иежностью подумал: да, она совсем еще девчоика! Но, сделав равиодушный аид, озабочеино перешагнул в лодку и, упирая веслом в студеиистое дно, повериул ее аперед носом и потянул по спутаииой гуще подводных трав на зелеиые щетки куги и цветущие кувшннкн, все апереди покрыааашие сплошным слоем своей толстой, круглой лнстаы, выаел ее иа воду и сел иа лавочку посередние, гребя иаправо и ивлево.

— Правда хорошо? — крнкнула она.

— Очень! — ответил он, сннмая квртуз, н обериулся к ней: — Будьте добры кннуть аозле себя, а то я смахиу его а это корыто, которое, извнните, асе-таки протекает и полно пьявок.

Она положнла картуз к себе иа коленн.

— Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Оиа пржала картуз к грудн:

— Нет, я его буду беречь!

У него опять нежно дрогиуло сердце, ио он опять отвернулся и стал усиленно звпускать весло а блестевшую средн кугн и кувшинок воду.

К лнцу и рукам лнпли комары, кругом асе слепило теплым серебром: париой воздух, зыбкнй солнечиый свет, курчаввя белнзна облаков, мягко сиявшнх а иебе и а прогалннвх воды средн островов из куги н куашинок; аезде было так мелко, что вндно было дио с подаодными трааамн, но оно как-то не мешало той бездонной глубиие, а которую уходнло отраженное небо с облакамн. Вдруг она опять азаизгнула — и лодка повалнлась набок: оиа суиула с кормы руку в воду н, поймаа стебель куашннки, так рваиула его к себе, что завалилась вместе с лодкой — ои едва успел вскочнть и поймать ее под мышки. Оиа захохотала и, упав иа корму спнной, брызиула с мокрой рукн прямо ему а глаза. Тогда он опять схввтнл ее н, ие поннмая, что делает, поцеловал в хохочущне губы. Она быстро обняла его за шею и нелоако поцеловала в щеку...

С тех пор оин стали плавать по иочам. На другой день она аызвалв его после обеда а сад и спросила:

— Ты меия любншь?

Он горячо ответнл, помня вчерашние поцелуи а лодке:

— С первого дня иашей встречн!

— И я,— сказала она.— Нет, сначала ненаандела — мне казалось, что ты совсем ие звмечаешь меня. Но, слааа богу, асе это уже прошлое. Нынче аечером, как асе улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только аыйди из дому как можио осторожиее — мамв за каждым шагом моим следнт, ревннва до безумия.

Ночью она пришла иа берег с пледом иа руке. От радостн он астретил ее растерянно, только спроснл:

— А плед звчем?

— Какой глупый! Нам же будет холодио. Ну, скорей саднсь н гребн к тому берегу...

Всю дорогу они молчалн. Когда подплыли к лесу иа той стороие, она сказала:

— Ну аот. Теперь идн ко мие. Где плед? Ах, он подо миой. Прнкрой меия, я озябла, и саднсь. Вот так... Нет, погодн, вчера мы целоаалнсь как-то бестолково, теперь я снвчала сама поцелую тебя, только тихо, тнхо. А ты обнимн меня... везде...

Под сарафвном у нее былв только сорочка. Оив иежно, едаа касаясь, целовала его а края губ. Он, с помутнившейся головой, кннул ее на корму. Онв нсступленно обняла его...

Полежаа а нзнеможенни, оиа прнподиялась н с улыбкой счастлнаой усталости и еще не утихшей боли сказала:

— Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что оиа не переживет моего замужества, ио я сейчас не хочу об этом думать... Знвешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голоау она разделась, забелела а сумраке асем саоим долгим телом и сталв обвязывать голоау косой, подняв рукн, показывая темные мышки н подиявшиеся грудн, не стыдясь своей наготы и темного мыска под животом. Обвязаа, быстро поцеловала его, вскочила иа ноги, плашмя упала в аоду, закннув голову иазад, н шумно заколотила ногами.

Потом он, спеша, помог ей одеться н закутвться а плед. В сумраке сказочно были вндиы ее черные глаза н чериые аолосы, обаязанные косой. Он больше ие смел касаться ее, только целовал ее руки н молчал от иестерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть а темноте прибрежиого лесв, молча тлеющего кое-где саетляками,— стоит н слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимвла голову:

— Постой, что это?

— Не бойся, это, аерно, лягушка выползает на берег. Илн еж а лесу...

— А еслн козерог?

— Какой козерог?

— Я не зиаю. Но ты только подумай: аыходит нз лесу какой-то козерог, стонт н смотрит... Мне так хорошо, мие хочется болтать страшные глупостн!

И он опять прнжнмал к губам ее рукн, иногда как что-то священное целовал холодиую грудь. Каким соасем иовым существом стала она для иего! И стоял и ие гас за чернотой низкого леса зелеиоватый полусвет, слабо отрвжавшнйся в плоско белеющей воде адалн, резко, сельдереем, пахлн роснстые прибрежные растення, таинствеино, просительно ныли иевидимые комары — и леталн, летали с такнм треском ивд лодкой и дальше, над этой по-ночному саетящейся аодой, страшные, бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробнрвлось...

Через неделю ои был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом соаершеиио внезапной разлукн, выгиаи из дому.

Как-то после обеда они сндели в гостнной н, касаясь головамн, смотрелн картинки в старых номерах «Нивы».

— Ты меня еще не разлюбнла? — тнхо спрашиаал он, делвя вид, что аннмательно смотрит.

— Глупый. Ужвсно глупый! — шептала она.

Вдруг послышались мягко бегущне шаги — н иа пороге встала в чериом шелковом истрепаиином халате и истертых сафьяновых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически саеркали. Она вбежала, как на сцеиу, и крнкнула:

— Я все поияла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, аскниуа руку а длиииом рукаве, оглушительио выстрелнла нз старииного пистолета, которым Петя пугал аоробьев, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился к ней, схватнл ее цепкую руку. Оиа выраалась, ударнла его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швыриула им в иего н, слыша, что по дому бегут на крик н аыстрел, ствла крнчать с пеной иа снзых губах еще театральнее:

— Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежнт с тобой, а тот же день поаешусь, брошусь с крышн! Негодяй, аон из моего дома! Мврья Викторовна, аыбирайте: мать илн он!

Оиа прошептала:

— Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глвза — все так же неуклонно, загадочио, могильно смотрел на иего нз черной темиоты сине-лнловый глвзок над даерью, н все с той же неуклоиио рвущейся аперед быстротой несся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальиый полустанок. И уж целых даадцать лет тому назад было асе это — перелески, сороки, болота, куашннкн, ужн, журавли... Да, ведь былн еще журавли — как же ои забыл о нних! Все было странно а то уднаительное лето, страниа и пара какнх-то журавлей, откуда-то прнлетавших от аремеии до времеин на прнбрежье болота, н то, что оии только ее одну подпускалн к себе н, выгнбая тоикне, длинные шен, с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрелн на иее сверху, когда она, мягко и легко разбежаашнсь к ннм в своих рвзноцаетиых чуиьках, адруг саднлась перед нимн иа корточкн, распустившн на влажиой и теплой зелени прнбрежья свой желтый сарафаи, и с детскнм задором заглядыаалв а их прекрвсиые и грозные чериые зрач-

ки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали, в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки,— даже их костяные ноздри, скважины крепких, больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузые туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не в меру длинны и тонки — у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разлато, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками... Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел — видел только ее распустившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване, над томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:

— А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколона!

За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему:

— Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?

— Грущу, грущу,— ответил он, неприятно усмехаясь.— Дачная девица... Amata nobis quantum amabitur nulla![1]

— Это по-латыни? Что это значит?

— Этого тебе не нужно знать.

— Как ты груб,— сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно.

27 сентября 1940

ГЕНРИХ

В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу — заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей.

У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:

— Отвезешь меня на Брестский.

— Слушаю-с,— ответил Касаткин.— За границу, значит, отправляетесь.

— За границу.

Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:

— Охота пуще неволи!

Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх,— вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное. «И правда, зачем я еду?» Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет... в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ... а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча... остановишься где-нибудь в пути — кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия... Утром по дороге вдоль моря к Ницце то пролеты в грохочущей и дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике... И он быстро пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной.

В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно — жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли...

Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услыхал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.

— Едешь?

— Еду, Надюша...

Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.

— Знаешь, я, слава богу, ночью заболела... Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал! Почему ты мне не позволяешь?

— Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди, ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой...

— А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!

— А я? Но ты же знаешь, что это невозможно...

Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее слезы.

— Надюша, что же это?

Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:

— Нет, нет, я не буду... Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима свобода.

— Ты у меня умница,— сказал он, умиляясь ее серьезностью и ее детским профилем — чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах.— Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса.

Она топнула в пол:

— Не смей мне говорить о других женщинах!

И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием:

— На минутку... Нынче еще можно...

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в прямой черно-масляннистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек черные букли, держа руки в

---

[1] Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет! *(лат.)*

большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами.

— Все-таки уезжаешь, негодяй,— безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком.— Погоди, пожалеешь, другой такой не наживешь, оствинешься со своей дурочкой поэтессой.

— Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли,— как тебе не грех думать бог знает что.

— Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это бог знает что, я тебя серной кислотой оболью.

Из-под готового поезда, сверху освещенного матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнущий каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске стен, обитых тисненой кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была уже заграница. Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром.

— Какой ты счастливый! — сказала Ли.— Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?

И она подергала дверь в соседнее купе:

— Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой бог! Целуй меня скорей, сейчас будет третий звонок...

Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки и шепча:

— Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!

За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.

— Ну что, напрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.

— Начинаешь ревновать, Генрих?

— Не начинаю, я продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки.

— Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразу оставить такую! А потом, ведь переношу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним.

— Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего затем, чтобы развязаться с ним.

— Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной.

Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив нога на ногу в серых замшевых туфлях с серебряными пряжками:

— Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я не позднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мы ведь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи.

— Товарищи...— сказал он, радостно глядя на ее тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках.— Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всем действительно, как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя.

— А где ты был вчера вечером?

— Вечером? Дома.

— А с кем? Ну да бог с тобой. А ночью тебя видели в «Стрельне», ты был в какой-то большой компании в отдельном кабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон — Степы, Груши, их роковые очи...

— А венские пропойцы, вроде Пшибышевского?

— Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?

— Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша...

— Ну, ну, опиши мне ее.

— Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок? Очень худа и даже не хороша — плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоский живот... это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь — как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдет под бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами,— просто несчастье! Но идем обедать.

Она встала, легонько усмехнувшись:

— Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем, что бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки!

— И одна совсем лишняя...

Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами.

Он вернулся один,— сидел в ресторане, курил,— она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино, положила плетенную из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талия у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколки легкие, точеные. Он долго целовал ее стоя, потом они сели на постель и стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами.

— А Ли? — сказала она.— А Маша?

Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью:

— Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станций — и вас, вас, «жены человеческие, сеть прельщения человеком»! Эта «сеть» нечто поистине неизъяснимое, божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: «Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном».

— А у Ли,— спросила Генрих,— груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истерички.

— Да.

— Она глупа?

— Нет... Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, звпальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой... Но ты мне надоела с Ли.

— Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.

— И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию...

— А почему не в Ниццу?

— Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное — поедем вместе!

— Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.

— Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. «Я люблю во Флоренции только треченто...» А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто... И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухолиcого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке... Ну, если не в Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, в какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов... Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы... словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мертвый ангел... А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощекие, в черных корсажах и красных шерстяных чулках...

— Ох, уж мне эти поэты! — сказала она с ласковым зевком.— И опять девки, девки... Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю...

В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.

На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало — вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей — и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой мышино-голубой шинели, шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.

— Генрих, что ты? — сказал он.

— Не знаю, милый,— ответила она тихо.— Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя... Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца... А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки.

— Да, да, и пронзительные цимбалы... Вот я и говорю: пошли австрияка к черту и поедем дальше.

— Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения — ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими...

— Слушай, правда?

Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.

— Генрих, я не узнаю тебя.

— И я себя. Но иди, иди ко мне.

— Погоди...

— Нет, нет, сию минуту!

— Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?

— Нынче вечером, нынче же вечером!

Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников.

И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восставших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова вда гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящий огонь при входе в закопченную пасть туннеля. Потом — все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал, и петушиная гордость, и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале — одинокий мальчишка, лениво катививший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче; все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня — вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах...

В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною,

с самой ранней молодости не испытывал ничего подобного. Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчики, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с эстрады струнный оркестр — телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме: «Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками!»

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденький лакей во фраке, итальянский красавчик с газельими глазами, принес ему кофе: «Pas de lettres, monsieur, pas de télégrammes»[1]. Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал:

«Ну и черт с ней. Все понятно».

Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике — ехал чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, ун! и крутой выстрел бича в воздухе... Портье радостно осклабился:

— Pas de télégrammes, monsieur!

Он тупо одевался к обеду, думая все одно и то же: «Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свете так не любил, как ее, что бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю,— возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, какое это было бы упоение — дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе!»

После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вони копеечных итальянских сигар, выходил на набережную, к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдали направо, заходил в бары и все пил, то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами:

— Pas de télégrammes?

И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью:

— Pas de télégrammes, monsieur!

Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак,— упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.

На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецию в вечернем поезде: пробуду в Венеции день и в три часа ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную... Какой он, этот австрияк? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и решительным — конечно, наигранным — взглядом косо склоненного из-под широкополой шляпы лица... Но что о нем думать! И мало ли что будет еще в жизни! Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем,— выделяется резкий и безучастный голос черной простоволосой женщины, с шалью на плечах, вторящей разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе нищего... старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу — прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилианкой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины... запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой, перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад...

Вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым глянцем, над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя назавтра непогоду, дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленького солнца, апельсина-королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной безнадежной тоской, потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. «Journaux étrangers!»[1] — крикнул бежавший навстречу газетчик и на бегу сунул ему «Новое время». Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослепленный как бы взрывом магния:

«Вена. 17 декабря. Сегодня, в ресторане «Franzensring» известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом «Генрих».

10 ноября 1940

В ОДНОЙ ЗНАКОМОЙ УЛИЦЕ

Весенней парижской ночью шел по бульвару в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном...

Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко — и я, студент, какой-то тот я, в существование которого теперь уже не верится...

Там огонек таинственный
До полночи светил...

И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развевал его, и светилось вверху, в мезонине, за красной ситцевой занавеской...

Ах, что за чудо девушка,
В заветный час ночной,
Меня встречала в доме том
С распущенной косой...

---

[1] Нет писем, сударь, нет телеграмм (*фр.*).

[1] Иностранные газеты! (*фр.*)

И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою ннщую семью, уехавшвя в Москву на курсы... И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволокн, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок — н за дверью слышались быстро сбегавшне с крутой деревянной лестннцы шагн, дверь отворялась — н на нее, на ее шаль н белую кофточку несло ветром, метелью... Я кндался целовать ее, обнимая от ветра, н мы бежвлн наверх, в морозном холоде н в темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скучно освещенную керосиновой лампочкой... Красная занавеска на окне, столик под ним с этой лампочкой, у стены железная кровать. Я бросал куда попало шинель, картуз н брал ее к себе на коленн, сев нв кроввть, чувствуя сквозь юбочку ее тело, ее косточкн... Распущенной косы не было, была заплетенная, довольно бедная русая, было простонародное лнцо, прозрачное от голода, глаза тоже прозрачные, крестьянские, губы той нежности, что бывают у слабых девушек...

Как не по-детски пламенно
Прнльнув к устам моим,
Она, дрожа, шептала мие:
«Послушай, убежнм!»

Убежим! Куда, зачем, от кого? Как прелестна эта горячая, детская глупость: «Убежнм!» У нас «убежим» не было. Былн этн слабые, сладчайшне в мире губы, были от нзбытка счастья выступавшне на глаза горячне слезы, тяжкое томленне юных тел, от которого мы клоннлн на плечо друг другу головы, н губы ее уже горели, как в жару, когда я рвсстегивал ее кофточку, целовал млечную девичью грудь с твердевшнм недозрелой землянникой острием... Прндя в себя, она вскакнвала, зажнгала спиртовку, подогревала жндкнй чай, н мы запивалн нм белый хлеб с сыром в красной шкурке, без конца говоря о нашем будущем, чувствуя, как несет нз-под занавески зимой, свежим холодом, слушая, как сыплет в окно снегом... «В одной знвкомой улнце я помню старый дом...» Что еще помню? Помню, как весной провожал ее на Курском вокзале, как мы спешнли по платформе с ее ивовой корзинкой н свертком красного одеяла в ремнях, бежалн вдоль длинного поезда, уже готового к отходу, заглядывалн в переполненные народом зеленые вагоны... Помню, как наконец она взобралась в сенцы одного нз них н мы говорнли, прощались н целовали друг другу рукн, как я обещал ей приехать через две неделн в Серпухов... Больше ннчего не помню. Ннчего больше н не было.

25 мая 1944

«МАДРИД»

Поздним вечером шел в месячном свете вверх по Тверскому бульвару, а она навстречу: идет гуляющим шагом, держнт руки в маленькой муфте и, поводя круглой каракулевой шапочкой, надетой слегка набекрень, что-то напевает. Подойдя, приостановилась:

— Не хочете лн разделить компанию?

Он посмотрел: небольшая, курносенькая, немножко шнрокоскулая, глаза в ночном полусвете блестят, улыбка мнлая, несмелая, голосок в тишнне, в морозном воздухе чнстый...

— Отчего же нет? С удовольствием.

— А вы сколько дадите?

— Рубль за любовь, рубль на булавкн.

Она подумвла.

— А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после вас еще успею походить.

— Два швга. Тут, на Тверской, номера «Мадрнд».

— А, знаю! Я там раз пять была. Меня тудв одии шулер воднл. Еврей, а ужасно добрый.

— Я тоже добрый.

— Я так н подумала. Вы симпатичный, сразу мне понравились...

— Тогда, значнт, пошлн.

По дороге, все поглядывая на нее,— на редкость милая девчонка! — стал расспрашнвать:

— Что ж ты это одна?

— Я не одна, мы завсегда втроем выходим: я, Мур н Анеля. Мы н живем вместе. Только нынче суббота, нх прнказчнкн взялн. А меня ннкто за весь вечер не взял. Меня не очень берут, любят больше полных нлн уж чтобы как Анеля. Она хоть худая, а высокая, дерзкая. Пьет — страсть и по-цыгански умеет петь. Она и Мур мужчин терпеть не можут, влюблены друг в друга ужас как, живут квк муж с женой...

— Так, так... Мур... А тебя как зовут? Только не врн, не выдумывай.

— Меня Нина.

— Вот н врешь. Скажн прввду.

— Ну, вам скажу. Поля.

— Гуляешь, должно быть, недавно?

— Нет, уж давно, с самой весны. Да что все расспрашивать! Дайте лучше папиросочку. У вас, верно, очень хорошне, ншь какой на вас клош н шляпа!

— Дам, когда прндем. На морозе вредно курнть.

— Ну, как хочете, а мы завсегда на морозе курим, н ннчего. Вот Анелн вредно, у ней чахотка... А отчего вы бритый? Он тоже был бритый...

— Это ты все про шулера? Однако запомннлся он тебе!

— Я его до снх пор помню. У него тоже чахотка, а курнт ужас как. Глаза горят, губы сухне, грудь провалнлась, щекн провалились, темные...

— А кисти волосатые, страшные...

— Правда, правда! Ай вы его знаете?

— Ну вот, откуда же я могу его знать!

— Потом он в Киев уехал. Я его на Брянский вокзал ходнла провожать, а он н не знал, что приду. Пришла, а поезд уж пошел. Побежала за вагонамн, а он как раз нз окошка высунулся, увидал меня, замахал рукой, стал крнчать, что скоро опять приедет н киевского сухого варенья мне прнвезет.

— И не приехал?

— Нет, его, верно, поймали.

— А откуда же ты узнала, что он шулер?

— Он сам сказал. Напнлся портвейну, стал грустный и сказал. Я, говорит, шулер, все равно что вор, да что же делать, волка ногн кормят... А вы, может, вктер?

— Вроде этого. Ну, пришлн...

За входной дверью горела над конторкой маленькая лампочка, ннкого не было. На доске на стене висели ключи от номеров. Когда он сиял свой, она зашептала:

— Как же это вы оставляете? Обворуют!

Он посмотрел на нее, все больше веселея.

— Обворуют — в Сибирь пойдут. Но что за прелесть мордашка у тебя!

Она смутилась:

— Все смеетесь... Пойдемте за-радн бога скорей, ведь все-таки это не дозволяется водить к себе так поздно...

— Ннчего, не бойся, я тебя под кровать спрячу. Сколько тебе лет? Восемнадцвть?

— Чудной вы! Все знаете! Восемнадцатый.

Поднялись по крутой лестннце, по истертому коврику, повернулн в узкнй, слабо освещенный, очень душный корндор, он остановился, всовывая ключ в дверь, она поднялась на цыпочкн п посмотрела, какой номер:

— Пятый! А он стоял в пятнадцатом, в третьем этаже...

— Еслн ты мне про него еще хоть слово скажешь, я тебя убью.

Губы у нее сморщнлись довольной улыбкой, она, слегка покачиваясь, вошла в прихожую освещенного номера, на ходу расстегивая пальтецо с каракулевым воротничком.

— А вы ушли и забыли свет погасить...
— Не беда. Где у тебя носовой платочек?
— На что вам?
— Раскраснелась, а все-таки нос озяб...
Она поняла, поспешно вынула из муфты комочек платка, утерлась. Он поцеловал ее холодную щечку и потрепал по спине. Она сняла шапочку, тряхнула волосами и, стоя, стала стягивать с ноги ботик. Ботик не поддавался, она, сделав усилие, чуть не упала, схватилась за его плечо и звонко засмеялась:
— Ой, чуть не полетела!
Он снял пальтецо с ее черного платьица, пахнущего материей и теплым телом, легонько толкнул ее в номер, к дивану:
— Сядь и давай ногу.
— Да нет, я сама...
— Сядь, тебе говорят.
Она села и протянула правую ногу. Он встал на одно колено, ногу положил на другое, она стыдливо одернула подол на черный чулок:
— Вот какой вы, ей-богу! Они, правда, у меня страсть тесные...
— Молчи.
И, быстро стащив ботики один за другим вместе с туфлями, откинул подол с ноги, крепко поцеловал в голое тело выше колена и встал с красным лицом:
— Ну, скорей! Не могу...
— Что не можете? — спросила она, стоя на ковре маленькими ногами в одних чулках, трогательно уменьшившись в росте.
— Совсем дурочка! Ждать не могу,— поняла?
— Раздеваться?
— Нет, одеваться!
И, отвернувшись, подошел к окну и торопливо закурил. За двойными стеклами, снизу замерзшими, бледно светили в месячном свете фонари, слышно было, как, гремя, неслись мимо, вверх по Тверской, бубенцы на «голубцах»... Через минуту она окликнула его:
— Я уж лежу.
Он потушил свет и, как попало раздевшись, торопливо лег к ней под одеяло. Она, вся дрожа, прижалась к нему и зашептала с мелким, счастливым смехом:
— Только за-ради бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, страсть боюсь щекотки...
С час после того она крепко спала. Лежа рядом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как же это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых,— и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже «на весь дом закричу» от жалости, когда она завтра соберется уходить...
— Поля,— сказал он, садясь и трогая ее за голое плечо.
Она испуганно очнулась:
— Ох, батюшки! Извините, пожалуйста, совсем нечаянно заснула... Я сичас, сичас...
— Что сейчас?
— Сичас встану, оденусь...
— Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пущу до утра.
— Что вы, что вы! А полиция?
— Глупости. А мадера у меня ничуть не хуже портвейна твоего шулера.
— Что ж вы мне все попрекаете им?
Он внезапно зажег свет, резко ударивший ей в глаза, она сунула голову в подушку. Он сдернул с нее одеяло, стал целовать в затылок, она радостно забила ногами:
— Ой, не щекотите!
Он принес с подоконника бумажный мешочек с яблоками и бутылку крымской мадеры, взял с умывальника два стакана, сел опять на постель и сказал:
— Вот, ешь и пей. А то убью.
Она крепко надкусила яблоко и стала есть, запивая мадерой и рассудительно говоря:
— А что ж вы думаете? Может, кто и убьет. Наше дело такое. Идешь неизвестно куда, неизвестно с кем, а он либо пьяный, либо полоумный, кинется и задушит, либо ножиком зарежет... А до чего у вас теплый номер! Сидишь вся голая, и все тепло. Это мадера? Вот люблю! Куда ж сравнить с портвейном, он завсегда пробкой пахнет.
— Ну, не завсегда.
— Нет, ей-богу, пахнет, хоть два рубля за бутылку заплати, одна честь.
— Ну, давай еще налью. Давай чокнемся, выпьем и поцелуемся. До дна, до дна.
Она выпила, и так поспешно, что задохнулась, закашлялась и, смеясь, упала головой к нему на грудь. Он поднял ей голову и поцеловал в мокрые, деликатно сжатые губки.
— А меня придешь провожать на вокзал?
Она удивленно раскрыла рот.
— Вы тоже уедете? Куда? Когда?
— В Петербург. Да это еще не скоро.
— Ну, слава богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хочете?
— Хочу. Только ко мне одному. Слышишь?
— Ни за какие деньги ни к кому не пойду.
— Ну то-то же. А теперь — спать.
— Да мне нужно на минуточку...
— Вот тут, в тумбочке.
— Мне на виду стыдно. Погасите на минуточку огонь...
— И совсем погашу. Третий час...
В постели она легла ему на руку, опять вся прижавшись к нему, но уже тихо, ласково, а он стал говорить:
— Завтра мы с тобой будем вместе завтракать...
Она живо подняла голову:
— А где? Вот я раз была в «Тереме», это за Триумфальными воротами, дешево до того, прямо даром, а уж сколько дают — съесть нельзя!
— Ну, это мы посмотрим где. А потом ты пойдешь домой, чтобы твои стервы не подумали, что тебя убили, да и у меня дела есть, а к семи опять приходи ко мне, поедем обедать к Патрикееву, там тебе понравится — оркестрион, балалаечники...
— А потом в «Эльдорадо» — правда? Там сейчас идет чудная фильма «Мертвец-беглец».
— Великолепно. А теперь — спи.
— Сичас, сичас... Нет, Мур не стерва, она страсть несчастная. Я бы без нее пропала.
— Как это?
— Она папина сестра двоюродная...
— Ну?
— Папа мой был сцепщиком на товарной станции в Серпухове, ему там грудь раздавило буферами, а мама умерла, когда я была еще маленькой, я и осталась одна на всем свете и поехала к ней в Москву, а она, оказывается, давно уж не служит по номерам горничной, мне дали ее адрес в адресном столе, я приехала к ней с корзинкой на извозчике на Смоленский рынок, смотрю, а она с этой Анелей живет и вместе с ней ходит по вечерам на бульвары... Ну и оставила меня у себя, а потом уговорила тоже выходить...
— А говоришь, что ты без нее пропала бы.
— А куда ж бы я делась в Москве одна? Конечно, она меня погубила, да разве она мне зла желала? Ну да что об этом говорить. Может, бог даст, место какое найду тоже в номерах, только уж место не брошу и уж никого к себе не подпущу, мне и чаевых будет довольно, да еще на всем готовом. Вот если бы тут, в вашем «Мадриде»! Чего бы лучше!
— Я об этом подумаю; может, и устрою тебе где-нибудь такое место.
— Я бы вам в ножки поклонилась!
— Чтоб вышла уж полная идиллия...
— Что?
— Нет, ничего, это я со сна... Спи.
— Сичас, сичас... Я что-й-то раздумалась...

26 апреля 1944

ВОРОН

Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был еще мальчиком: увидал однажды в «Ниве» картинку, какую-то скалу и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосинами, в черных коротких сапожках, и вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинки в «Полярных путешествиях» Богданова,— так похож показался мне Наполеон на пингвина,— а потом грустно подумал: а папа похож на ворона...

Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост, и это еще более испортило его; думаю, что даже в том чиновном обществе, к которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жестокого в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо-черноволосый, темный длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон — особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих, на подходящих к киоску, да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в бриллиантах,— рослую даму в парче и кокошнике, с носом настолько розово-белым от пудры, что он казался искусственным. Был отец давно вдов, нас, детей, было у него лишь двое,— я да маленькая сестра моя Лиля,— и холодно, пусто блистала своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная казенная квартира во втором этаже одного из казенных домов, выходивших фасадами на бульвар в тополях между собором и главной улицей. К счастью, я больше полугода жил в Москве, учился в Катковском лицее, приезжал домой лишь на Святки и летние каникулы. В том году встретило меня, однако, дома нечто совсем неожиданное.

Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире,— всю ее озаряло присутствие той юной, легконогой, что только что сменила няньку восьмилетней Лили, длинную, плоскую старуху, похожую на средневековую деревянную статую какой-нибудь святой. Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась тотчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой! Отец за обедами неузнаваем стал: не кидал тяжких взглядов на старика Гурия, в вязаных перчатках подносившего ему кушанья, то и дело что-нибудь говорил,— медлительно, но говорил,— обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству,— «любезная Елена Николаевна»,— даже пытался шутить, усмехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто алела тонким и нежным лицом — лицом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которой едва означались маленькие груди. На меня она за обедом и глаз поднять не смела: тут я был для нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следить за злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилей, скрыт был совсем иной страх,— радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете; теперь он пил чай с нами, в столовой, и за самоваром сидела она — Лиля в этот час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил — нечто очень странное:

— Белокурым, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунсовое... Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым, стоячим воротом а-ля Мария Стюарт, унизанным мелкими брильянтами... или средневековое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком... Шубка темно-синего лионского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам... Все это, конечно, мечты,— говорил он, усмехаясь.— Ваш отец получает у нас всего семьдесят пять рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек, мал мала меньше,— значит, вам скорей всего придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать: какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются?.. Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются... Ведь вот выиграл же недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске двести тысяч,— простой повар!

Она пыталась делать вид, что принимает все это за милые шутки, заставляла себя взглядывать на него, улыбаться, а я, будто и не слыша ничего, раскладывал пасьянс «Наполеон». Он же пошел однажды еще дальше,— вдруг молвил, кивнув в мою сторону:

— Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает: мол, помрет в некий срок папенька и будут у него куры не клевать золота! А куры-то и впрямь не будут клевать, потому что клевать будет нечего. У папеньки, разумеется, кое-что есть,— например, именьице в тысячу десятин чернозему в Самарской губернии,— только навряд оно сынку достанется, не очень-то он папеньку своей любовью жалует, и, насколько понимаю, выйдет из него мот первой степени...

Был этот последний разговор вечером под Петров день,— очень мне памятный. Утром того дня отец уехал в собор, из собора — на завтрак к имениннику-губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будни дома, так что и в тот день мы завтракали втроем, и под конец завтрака Лиля, когда подали вместо ее любимых хворостиков вишневый кисель, стала пронзительно кричать на Гурия, стуча кулачками по столу, сошвырнула на пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в ее комнату,— она брыкалась, кусала нам руки,— умолили ее успокоиться, наобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец и заснула. Сколько трепетной нежности было для нас даже в одном этом — в совместных усилиях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга! На дворе шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкала иногда молния и содрогались стекла от грома.

— Это на нее так гроза подействовала,— радостно сказала она шепотом, когда мы вышли в коридор, и вдруг насторожилась: — О, где-то пожар!

Мы пробежали в столовую, распахнули окно — мимо нас, вдоль бульвара, с грохотом неслась пожарная команда. На тополи лился быстрый ливень,— гроза уже прошла, точно он потушил ее,— в грохоте длинных несущихся дрог с медными касками стоящих на них пожарных, со шлангами и лестницами, в звоне поддужных колокольцов над гривами черных битюгов, с треском подков мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежно, бесовски-игриво, предостерегающе пел рожок горниста... Потом часто, часто забил набат на колокольне Ивана Вонна на Лавах... Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью, и, казалось, только смотрели и слушали с присталь-

ным волнением. Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них, сердце у меня забилось сильнее, лоб стянуло — я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляюще глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза, а я охватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в нежном холоде девичьих губ... Не было после того ни единого дня без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приезжавшего домой только к вечеру,— этих коротких встреч и отчаянно долгих, ненасытных и уже нестерпимых в своей неразрешимости поцелуев. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему чаю в столовую, стал опять молчалив и угрюм. Но мы уже не обращали на него внимания, и она стала спокойнее и серьезнее за обедами.

В начале июля Лиля заболела, объевшись малиной, лежала, медленно поправляясь, в своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, пришпиленных к доске, какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от ее кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку,— отойти было нельзя: Лиля поминутно что-нибудь требовала. А я погибал в пустом, тихом доме от непрестанного, мучительного желания видеть, целовать и прижимать к себе ее, сидел в кабинете отца, что попало беря из его библиотечных шкапов и силясь читать. Так сидел я и в тот раз, уже перед вечером. И вот вдруг послышались ее легкие и быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил:

— Что, заснула?

Она махнула рукой.

— Ах нет! Ты не знаешь — она может по двое суток не спать, и ей все ничего, как всем сумасшедшим! Прогнала меня искать у отца какие-то желтые и оранжевые карандаши...

И, заплакав, подошла и уронила мне на грудь голову:

— Боже мой, когда ж это кончится! Скажи же наконец ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас!

И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась в поцелуе. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану,— мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание. Я взглянул через ее плечо — отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и, горбясь, удалился.

К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурий: «Папаша просит вас пожаловать к ним». Я вошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить:

— Завтра ты на все лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься ослушаться, навеки лишу тебя наследства. Но мало того: завтра же попрошу губернатора немедленно выслать тебя в деревню по этапу. Теперь ступай и больше на глаза мне не показывайся. Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. К осени напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первое прожитие в столицах. Видеть ее до отъезда никак не надейся. Все, любезный мой. Иди.

В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург — «с прелестной молоденькой женой», как сказали мне. И, входя однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидал и его и ее. Они сидели в ложе возле сцены, у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он, во фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал, прищурив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно, в высокой прическе белокурых волос, оживленно озиралась кругом — на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер, на вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложи. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом...

18 мая 1944

НОЧЛЕГ

Это случилось в одной глухой гористой местности на юге Испании.

Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените, но свет ее, слегка розоватый, как это бывает в жаркие ночи после кратких дневных ливней, столь обычных в пору цветения лилий, все же так ярко озарял перевалы невысоких гор, покрытых низкорослым южным лесом, что глаз ясно различал их до самых горизонтов.

Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их возвышенностей с одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая то аметистом, то топазом, летучие светляки, лючиоли. Противоположные возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролегала древняя каменистая дорога. Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздний час шагом въехал на гнедом жеребце, припадавшем на переднюю правую ногу, высокий марокканец в широком бурнусе из белой шерсти и в марокканской феске.

Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким. Марокканец проехал сперва по тенистой улице, между каменными остовами домов, зиявших черными пустотами на месте окон, с одичавшими садами за ними. Но затем выехал на светлую площадь, на которой был длинный водоем с навесом, церковь с голубой статуей мадонны над порталом, несколько домов, еще обитаемых, а впереди, уже на выезде, постоялый двор. Там, в нижнем этаже, маленькие окна были освещены, и марокканец, уже дремавший, очнулся и натянул поводья, что заставило хромавшую лошадь бодрей застучать по ухабистым камням площади.

На этот стук вышла на порог постоялого двора маленькая, тощая старуха, которую можно было принять за нищую, выскочила круглоликая девочка лет пятнадцати, с челкой на лбу, в эспадрильях на босу ногу, в легоньком платьице цвета блеклой глицинии, поднялась лежавшая у порога огромная черная собака с гладкой шерстью и короткими, торчком стоящими ушами. Марокканец спешился возле порога, и собака тотчас вся подалась вперед, сверкнув глазами и словно с омерзением оскалив белые страшные зубы. Марокканец взмахнул плетью, но девочка его предупредила.

— Негра! — звонко крикнула она в испуге,— что с тобой?

И собака, опустив голову, медленно отошла и легла, мордой к стене дома.

Марокканец сказал на дурном испанском языке приветствие и стал спрашивать, есть ли в городе кузнец,— завтра нужно осмотреть копыто лошади,— где можно поставить ее на ночь и найдется ли корм для нее, а для него какой-нибудь ужин? Девочка с живым любопытством

смотрела на его большой рост и небольшое, очень смуглое лицо, изъеденное оспой, опасливо косилась на черную собаку, лежавшую смирно, но как будто обиженно, старуха, тугая на ухо, поспешно отвечала крикливым голосом: кузнец есть, работник спит на скотном дворе рядом с домом, но она сейчас его разбудит и отпустит корму для лошади, что же до кушанья, то пусть гость не взыщет: можно сжарить яичницу с салом, но от ужина осталось только немного холодных бобов да рагу из овощей... И через полчаса, управившись с лошадью при помощи работника, вечно пьяного старика, марокканец уже сидел за столом в кухне, жадно ел и жадно пил желтоватое белое вино.

Дом постоялого двора был старинный. Нижний этаж его делился длинным сенями, в конце которых была крутая лестница в верхний этаж, на две половины: налево просторная, низкая комната с нарами для простого люда, направо такая же просторная, низкая кухня и вместе с тем столовая, вся по потолку и по стенам густо закопченная дымом, с маленькими и очень глубокими по причине очень толстых стен окнами, с очагом в дальнем углу, с грубыми голыми столами и скамьями возле них, скользкими от времени, с каменным неровным полом. В ней горела керосиновая лампа, свисавшая с потолка на почерневшей железной цепи, пахло топкой и горелым салом,— старуха развела на очаге огонь, разогрела прокисшее рагу и жарила для гостя яичницу, пока он ел холодные бобы, политые уксусом и зеленым оливковым маслом. Он не раздελся, не снял бурнуса, сидел, широко расставив ноги, обутые в толстые кожаные башмаки, над которыми были узко схвачены по щиколке широкие штаны из той же белой шерсти. И девочка, помогая старухе и прислуживая ему, то и дело пугалась от его быстрых, внезапных взглядов на нее, от его синеватых белков, выделявшихся на сухом и рябом темном лице с узкими губами. Он и без того был страшен ей. Очень высокий ростом, он был широк от бурнуса, и тем меньше казалась его голова в феске. По углам его верхней губы курчавились жесткие черные волосы. Курчавились такие же кое-где на подбородке. Голова была слегка откинута назад, отчего особенно торчал крупный кадык в оливковой коже. На тонких, почти черных пальцах белели серебряные кольца. Он ел, пил и все время молчал.

Когда старуха, разогрев рагу и сжарив яичницу, утомленно села на скамью возле потухшего очага и крикливо спросила его, откуда и куда он едет, он гортанно кинул в ответ только одно слово:

— Далеко.

Съевши рагу и яичницу, он помотал уже пустым винным кувшином,— в рагу было много красного перцу,— старуха кивнула девочке головой, и, когда та, схватив кувшин, мелькнула вон из кухни в ее отворенную дверь, в темные сени, где медленно плыли и сказочно вспыхивали светляки, он вынул из-за пазухи пачку папирос, закурил и кинул все так же кратко:

— Внучка?

— Племянница, сирота,— стала кричать старуха и пустилась в рассказ о том, что она так любила покойного брата, отца девочки, что ради него осталась в девушках, что это ему принадлежал этот постоялый двор, что его жена умерла уже двенадцать лет тому назад, а он сам восемь и все завещал в пожизненное владение ей, старухе, что дела стали очень плохи в этом совсем опустевшем городке...

Марокканец, затягиваясь папиросой, слушал рассеянно, думая что-то свое. Девочка вбежала с полным кувшином, он, взглянув на нее, так крепко затянулся окурком, что обжег кончики острых черных пальцев, поспешно закурил новую папиросу и раздельно сказал, обращаясь к старухе, глухоту которой уже заметил:

— Мне будет очень приятно, если твоя племянница сама нальет мне вина.

— Это не ее дело,— отрезала старуха, легко переходившая от болтливости к резкой краткости, и стала сердито кричать:

— Уже поздно, допивай вино и иди спать, она сейчас будет стелить тебе постель в верхней комнате.

Девочка оживленно блеснула глазами и, не дождавшись приказания, опять выскочила вон, быстро затопала по лестнице наверх.

— А вы обе где спите? — спросил марокканец и слегка сдвинул феску с потного лба.— Тоже наверху?

Старуха закричала, что там слишком жарко летом, что когда нет постояльцев,— а их теперь почти никогда нет! — они спят в другой нижней половине дома,— вот тут, напротив,— указала она рукой в сени и опять пустилась в жалобы на плохие дела и на то, что все стало очень дорого и что поэтому поневоле приходится брать дорого и с проезжих...

— Я завтра уеду рано,— сказал марокканец, уже явно не слушая ее.— А утром ты дашь мне только кофе. Значит, ты можешь теперь же счесть, сколько с меня следует, и я сейчас же расплачусь с тобой. Посмотрим только, где у меня мелкие деньги,— прибавил он и вынул из-под бурнуса мешочек из красной мягкой кожи, развязал, растянул ремешок, который стягивал его отверстие, высыпал на стол кучку золотых монет и сделал вид, что внимательно считает их, а старуха даже привстала со скамьи возле очага, глядя на монеты округлившимися глазами.

Наверху было темно и очень жарко. Девочка отворила дверь в душную, горячую темноту, в которой остро светились щели ставней, закрытых за двумя такими же маленькими, как и внизу, окнами, ловко вильнула в темноте мимо круглого стола посреди комнаты, отворила окно и, толкнув, распахнула ставни на сияющую лунную ночь, на огромное светлое небо с редкими звездами. Стало легче дышать, стал слышен поток в долине. Девочка высунулась из окна, чтобы взглянуть на луну, не видную из комнаты, стоявшую все еще очень высоко, потом взглянула вниз: внизу стояла и, подняв морду, глядела на нее собака, приблудным щенком забежавшая откуда-то лет пять тому назад на постоялый двор, выросшая на ее глазах и привязавшаяся к ней с той преданностью, на которую способны только собаки.

— Негра,— шепотом сказала девочка,— почему ты не спишь?

Собака слабо взвизгнула, мотнув вверх мордой, и кинулась к отворенной двери в сени.

— Назад, назад! — поспешно шепотом приказала девочка.— На место!

Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз.

— Что тебе надо? — ласково заговорила девочка, всегда разговаривавшая с ней, как с человеком.— Почему ты не спишь, глупая? Это луна так тревожит тебя?

Как бы желая что-то ответить, собака опять потянулась вверх мордой, опять тихо взвизгнула. Девочка пожала плечом. Собака была для нее тоже самым близким, даже единственным близким существом на свете, чувства и помыслы которого казались ей почти всегда понятными. Но что хотела выразить собака сейчас, что ее тревожило нынче, она не понимала и потому только строго погрозила пальцем и опять приказала притворно сердитым шепотом:

— На место, Негра! Спать!

Собака легла, девочка еще немного постояла у окна, подумала о ней... Возможно, что ее тревожил этот страшный марокканец. Почти всегда встречала она постояльцев двора спокойно, не обращала внимания даже на таких, что с виду казались разбойниками, каторжниками. Но все же случалось, что на некоторых кидалась она почему-то как бешеная, с громовым ревом, и тогда только она одна могла смирить ее. Впрочем, могла быть и другая причина ее тревоги, ее раздражения — эта жаркая, без малейшего движения воздуха и такая ослепительная, полнолунная ночь. Хорошо слышно было в необыкновенной тишине этой ночи, как шумел поток в долине, как ходил, топал копытцами козел, живший на скотном дворе, как вдруг кто-то,— не то старый мул постоялого двора, не то жеребец марокканца,— со стуком лягнул его, а он так громко и гадко заблеял, что, казалось, по всему миру раздалось это

дьявольское блеяние. И девочка весело отскочила от окна, растворнла другое, распахиула н там ставни. Сумрак комнаты стал еще светлее. Кроме стола, в ней стоялн у правой от входа стены, изголовьями к ней, трн шнроких кроватн, крытые только грубыми простыиями. Девочка откинула простыню на первой от входа кровати, поправила изголовье, вдруг сказочио осветившееся прозрачным, нежиым голубоватым светом: это был светляк, севшнй на ее челку. Она провела по ней рукой, н светляк, мерцая н погасая, поплыл по комиате. Девочка легоиько запела и побежала вон.

В кухне во весь свой рост стоял спиной к ией марокканец и что-то негромко, ио настойчнво и раздраженно говорнл старухе. Старуха отрицательно мотала головой. Марокканец вздернул плечами н с таким злобным выражением лнца обернулся к вошедшей девочке, что она отшатнулась.

— Готова постель? — гортаино крнкиул он.

— Все готово,— тороплнво ответила девочка.

— Но я не знаю, куда мие ндти. Проводн меия.

— Я сама провожу тебя,— сердито сказала старуха.— Иди за мной.

Девочка послушала, как медлеино топала она по крутой лестнице, как стучал за ней башмакамн марокканец, н вышла наружу. Собвка, лежавшая у порога, тотчас вскочнла, взвилась н, вся дрожа от радостн н нежиости, лизиула ей в лицо.

— Пошла вон, пошла вои,— зашептала девочка, ласково оттолкнула ее и села на пороге. Собака тоже села на задние лапы, и девочка обняла ее за шею, поцеловала в лоб н стала покачнваться вместе с ией, слушая тяжелые шагн и гортанный говор мароккаица в верхней комиате. Он что-то уже спокойнее говорнл старухе, но нельзя было разобрать что. Наконец ои сказал громко:

— Ну, хорошо, хорошо! Только пусть оиа прииесет мне воды для питья иа иочь.

И послышались шагн осторожно сходнвшей по лестнице старухн.

Девочка вошла в сени навстречу ей н твердо сказала:

— Я слышала, что ои говорил. Нет, я ие пойду к нему. Я его боюсь.

— Глупостн, глупости! — закричала старуха.— Ты, значнт, думаешь, что я опять сама пойду с моими иогамн да еще в темиоте и по такой скользкой лестинце? И совсем иечего бояться его. Ои только очень глупый н вспыльчнвый, но ои добрый. Он все говорил мие, что ему жалко тебя, что ты девочка бедиая, что иикто не возьмет тебя замуж без приданого. Да и правда, какое же у тебя приданое? Мы ведь совсем разорились. Кто теперь у иас останавливается, кроме нищих мужнков.

— Чего ж он так злился, когда я вошла? — спросила девочка.

Старуха смутилась.

— Чего, чего! — забормотала оиа. — Я сказала ему, чтобы он не вмешнвался в чужие дела... Вот ои и обнделся...

И сердито закричала:

— Ступай скорей, иабери воды и отнеси ему. Он обещал что-иибудь подарить тебе за это. Иди, говорю!

Когда девочка вбежала с полным кувшниом в отвореиую дверь верхней комнаты, марокканец лежал иа кроватн уже совсем раздетый: в светлом луниом сумраке пронзительио чериели его птичьи глаза, чернела малеинькая, коротко стрнженная голова, белела длииная рубаха, торчали большие голые ступнн. На столе среди комиаты блестел большой револьвер с барабаиом и длииным дулом, на кровати рядом с его кроватью белым бугром была иавалеиа его верхняя одежда... Все это было очень жутко. Девочка с разбегу сунула иа стол кувшин и опрометью киулась иазад, ио марокканец вскочил и поймал ее за руку.

— Погоди, погодн,— быстро сказал ои, потяиув ее к кровати, сел, ие выпуская ее руки, н зашептал: — Сядь возле меия иа миаутку, сядь, сядь, послушай... только послушай...

Ошеломлеиная, девочка покорио села. И ои торопливо стал клясться, что влюбился в иее без памяти, что за одии ее поцелуй даст ей десять золотых моиет... двадцать моиет... что у иего их целый мешочек...

И, выдериув из-под изголовья мешочек красной кожи, трясущимися руками растянул его, высыпал золото на постель, бормоча:

— Вот видишь, сколько их у меня... Видишь?

Она отчаянно замотала головой н вскочила с кровати. Но он опять мгиовеино поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цепкой рукой, бросил ее иа кровать. Оиа с яростиой силой сорвала его руку и произительио крикиула:

— Негра!

Ои опять стнсиул ей рот вместе с носом, стал другой рукой ловить ее заголившиеся иоги, которыми она, брыкаясь, больио била его в живот, ио в ту же миниуту услыхал рев вихрем мчавшейся по лестинце собаки. Вскочив на ноги, ои схватил со стола револьвер, ио не успел даже курка поймать, мгновеино сбитый с иог иа пол. Защищая лицо от пасти собаки, растяиувшейся иа нем, обдававшей его огиеиным псиным дыханием, он метнулся, вскниул подбородок — и собака одной мертвой хваткой вырвала ему горло.

23 марта 1949

МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ

Прекрасные летние дии, спокойиое Черное море.

Пароход перегружен людьми и кладью,— палуба загромождена от кормы до бака.

Плавание долгое, круговое — Крым, Кавказ, Анатолийское побережье, Константииополь...

Жаркое солнце, сннее небо, море лнловое; бесконечные стоянкн в многолюдных портах с оглушающим грохотом лебедок, с браиью, с крнками капнтаиских помощников: майна! вира! — н опять успокоенне, порядок н нетороплнвый путь вдоль горных отдаленнй, знойно тающих в солнечной дымке.

В первом классе прохладный бриз в кают-компанин, пусто, чисто, просторно. И грязь, теснота в орде разиоплеменных палубных пассажиров возле горячей машины н пахучей кухни, на нарах под иавесамн н на якорных цепях, иа канатах на баке. Тут всюду густая воиь: то жаркая и приятиая, то теплая и противная, но одинаково волнующая, особая, пароходная, мешающаяся с морской свежестью. Тут русские мужики н бабы, хохлы н хохлушки, афоиские монахи, курды, грузииы, греки... Курды,— вполне дикнй народ,— с утра до вечера спят, грузины то поют, то парамн пляшут, легко подпрыгнвая, с кокетливой легкостью откннув шнрокнй рукав н плывя в расступнвшейся толпе, в лад бьющей в ладошн: таш-таш, твш-таш! У русскнх паломнннов в Палестнну идет без конца чаепитие, длниный мужик с обвнсшнмн плечами, с узкой желтой бородой н прямымн волосамн вслух чнтает Пнсание, а с него не спускает острых глаз какая-то вызывающе независимая женщина в красной кофте н зеленом газовом шарфе на черных сухих волосах, однноко устроившаяся возле кухнн.

Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съезднл на берег н, когда воротнлся, увндал, что по трапу поднимается целая новая ватага оборванных н вооруженных курдов — свнта ндущего впередн старнка, большого и широкого в костн, в белом курпее н в серой черкеске, крепко подпоясанной по тонкой талнн ремнем с серебряным набором. Курды, плывшие с намн н лежавшие в одном месте палубы целым стадом, все поднялнсь и очистнлн свободное

пространство. Свита старика настелила там множество ковров, наклала подушек. Старик царственно возлег на это ложе. Борода его была бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском блестели небольшие карие глаза.

Я подошел, присел на корточки, сказал «селям», спросил по-русски:

— С Кавказа?

Он дружелюбно ответил тоже по-русски:

— Дальше, господин. Мы курды.

— Куда же плывешь?

Он ответил скромно, но гордо:

— В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу благодарность, подарок: семь нагаек. Семь сыновей взял у меня на войну падишах, всех, сколько было. И все на войне убиты. Семь раз падишах меня прославил.

— Це, це, це! — с небрежным сожалением сказал стоявший над нами с папиросой в руке молодой полнеющий красавец и франт, керченский грек: вишневая дамасская феска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные панталоны и застегнутые на пуговки сбоку лакированные ботинки.— Такой старый и один остался! — сказал он, качая головой.

Старик посмотрел на его феску.

— Какой глупый,— ответил он просто.— Вот ты будешь старый, а я не старый и никогда не буду. Про обезьяну знаешь?

Красавец недоверчиво улыбнулся:

— Какую обезьяну?

— Ну так послушай! Бог сотворил небо и землю, знаешь?

— Ну, знаю.

— Потом бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек, жить тридцать лет на свете,— хорошо будешь жить, радоваться будешь, думать будешь, что все на свете только для тебя одного бог сотворил и сделал. Доволен ты этим? А человек подумал: так хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало! — Слышишь? — спросил старик с усмешкой.

— Слышу,— ответил красавец.

— Потом бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать бурдюки и вьюки, будут на тебе ездить люди и будут тебя бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен? И ишак зарыдал, заплакал и сказал богу: зачем мне столько? Дай мне, бог, всего пятнадцать лет жизни.— А мне прибавь пятнадцать,— сказал человек богу,— пожалуйста, прибавь от его доли! — И так бог и сделал, согласился. И вышло у человека сорок пять лет жизни.— Правда, человеку хорошо вышло? — спросил старик, взглянув на красавца.

— Неплохо вышло,— ответил тот нерешительно, не понимая, очевидно, к чему все это.

— Потом бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. Ты, сказал бог собаке, будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому чужому, брехать будешь на прохожих, не спать по ночам от беспокойства. И, знаешь, собака даже завыла: ой, будет с меня и половины такой жизни! И опять стал человек просить бога: прибавь мне и эту половину! И опять бог ему прибавил.— Сколько лет теперь стало у человека?

— Шестьдесят стало,— сказал красавец веселее.

— Ну, а потом сотворил бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что будет она жить без труда и без заботы, только очень нехороша лицом будет,— знаешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут,— и все будет стараться, чтобы на нее глядели, а все будут на нее смеяться.

Красавец спросил:

— Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни?

— И она отказалась,— сказал старик, приподнимаясь и беря из рук ближнего курда мундштук кальяна.— И человек выпросил себе и эту половину,— сказал он, снова ложась и затягиваясь.

Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь:

— Человек свои собственные тридцать лет прожил почеловечьи — ел, пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись. Вот все это и с тобой будет,— насмешливо сказал старик красавцу, катая в зубах мундштук кальяна.

— А с тобой отчего ж этого нету? — спросил красавец.

— Со мной нету.

— Почему же такое?

— Таких, как я, мало,— сказал старик твердо.— Не был я ишаком, не был собакой,— за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым?

1936

БЕРНАР

Дней моих на земле осталось уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.

— Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в мое окно...

Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года.

— Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи. Прозрачная синева неба трепетала живым блеском звезд...

— Хорошая погода, сударь.

— А ветер?

— С берега, сударь.

Через полчаса они уже в море:

— Горизонт бледнел, и вдали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще дальше — вращающийся маяк Вильфранша... С гор, еще невидимых,— только чувствовалось, что они покрыты снегом,— доносилось иногда сухое и холодное дыхание...

— Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, ускорила ход, заплясала на легкой и мелкой зыби... Наступал день, звезды гасли... В далеком небе, над Ниццей, уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты Верхних Альп...

— Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнущий бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол,— где-то звонили, звучал Angelus... Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира,— жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...

— Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный и верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

— Думаю, что я был хороший моряк. Je crois bien que j'étais un bon marin.

Он сказал это, умирая,— это были его последние слова

на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на «Бель Ами» 6 апреля 1888 года.

Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает:

— В продолжение многих лет Бернар делил бродячую морскую жизнь великого поэта, не расставался с ним до самого рокового отъезда его к доктору Бланш, в Париж.

— Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла «Бель Ами».

— Высокий, сухой, с энергичным и продубленным морской солью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно было слышать, как говорил он о нем!

— Теперь он умолк навеки! Последние его слова были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой:

— Je crois bien que j'étais un bon marin.

А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо», и что усердное исполнение этого божьего намерения есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал, в свою последнюю минуту? «Ныне отпущаеши, владыко, раба твоего, и вот я осмеливаюсь сказать тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

— В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему?

Но ведь сам бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар.

1952

СОДЕРЖАНИЕ

Бунин И. А.
Б 91 Рассказы.— М.: Худож. лит., 1982.— 63 с.

В сборник рассказов замечательного русского писателя И. А. Бунина (1870—1953) вошли такие широко известные произведения, как «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание» и пр.

Б $\frac{4702010100-410}{028(01)-82}$ КБ-35-21-82 Р1

Иван Алексеевич Бунин

РАССКАЗЫ

Редактор
А. Краковская
Художественный редактор
В. Серебряков
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Л. Казарьян и Ю. Левина

ИБ № 3310
Сдано в набор 31.05.82. Подписано к печати 24.08.82. Формат $60\times90^{1}/_{8}$. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,0 Усл. кр.-отт. 9 Уч.-изд. л. 11,34 Изд. № I-1089 Тираж 1 000 000 экз. (2-й завод: 500 001—1 000 000). Заказ 1421. Цена 95 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли г. Чехов Московской области

95 к.